

Ким Матвеевич  
Ильинич



Третий Батальон  
Идет

**НА БЕРЛИН!**

12+

Ким Ильинич

**Третий батальон идет на Берлин**

«Автор»

1983

**Ильинич К. М.**

Третий батальон идет на Берлин / К. М. Ильинич — «Автор»,  
1983

Книга повествует о событиях Великой Отечественной Войны, в которых автор – боевой офицер – лично принимал участие. Попав на фронт в 1943 году Ким Ильинич прошел путь от Прибалтики до Берлина.

© Ильинич К. М., 1983

© Автор, 1983

## Содержание

К читателю	5
Глава первая. Освобождение Польши	7
Глава вторая. Вот она, проклятая Германия!	40
Конец ознакомительного фрагмента.	54

# Ким Ильинич

## Третий батальон идет на Берлин

### К читателю

Я написал только о том, чему свидетелем был лично, что сохранила моя память, память моей матери, братьев и сестры, память моих фронтовых братьев – капитанов Коновалова Василия Григорьевича и Старцева Дмитрия Яковлевича – командиров седьмой и восьмой рот нашего 3-го батальона, Николая Семеновича Павлоцкого – командира огневого взвода роты 120-мм миномётов 598 стрелкового Берлинского полка 207 стрелковой Краснознаменной дивизии. Я, младший лейтенант, а затем – лейтенант, командовал 9-й ротой. В сорок пятом году мне было двадцать лет, а капитанам Коновалову и Старцеву – по тридцать. Я тогда успел забыть уже и детство, и молодость, никогда не думал о них. Никто не называл меня молодым и не напоминал мне об этом; Василий Григорьевич, Дмитрий Яковлевич и Николай Григорьевич казались мне пожилыми, жизненно опытными людьми.

С тех пор прошло почти сорок лет, и память отказывается точно воспроизвести дни, месяцы отдельных боев, а главное – имена их участников. Все меньше и меньше остаётся моих однополчан. Такие бесстрашные, покидают они передний край, уходят с огненных рубежей.

Шел 1943 год – третий год Великой Отечественной войны. Наши войска уже нанесли врагу сокрушительные удары под Москвой. Зимняя кампания 1942–1943 гг. закончилась разгромом крупнейшей группировки врага на берегу Волги, прорывом блокады Ленинграда, ударом у Великих Лук и ликвидацией плацдармов гитлеровских войск в районе Ржева, Гжатска, Вязьмы, Демьянска. Тогда, в год Великого Перелома и накануне новых побед нашей армии над гитлеровскими захватчиками и родилась 207 стрелковая дивизия.

Она начала формироваться в начале июня 1943 года в районе населенных пунктов Сладково, Новая Деревня, Говрюково Смоленской области, на базе дислоцировавшейся здесь 40 отдельной стрелковой бригады, которой командовал полковник В.Ф. Самойленко.

Эта бригада прошла славный боевой путь. Она была сформирована в октябре 1941 года в городе Фрунзе из курсантов военных училищ и военнообязанных первой категории. Почти на треть она состояла из коммунистов и комсомольцев. В конце ноября 1941 года бригада участвовала в обороне Москвы. За образцовое выполнение задания командования в боях за Москву и проявленный при этом героизм 40-я отдельная бригада была награждена орденом Красного Знамени. Теперь этот орден был передан 207 дивизии, которая стала именоваться 207 Стрелковая Краснознаменная дивизия. В состав дивизии вошла и 153 стрелковая бригада, тоже имевшая за плечами непростой боевой опыт.

В период формирования дивизии её первым командиром был назначен полковник Павел Филиппович Куклин, начальником штаба – полковник Андрианов, а начальником политотдела – полковник Кошевников.

После того как дивизия была сформирована, её командиром стал полковник Семён Никифорович Переверткин, впоследствии – генерал-майор, в битве за Берлин командовавший 79 стрелковым корпусом, в который входила и 207 стрелковая дивизия.

В состав дивизии вошли вновь сформированные 594, 597, 598 стрелковые полки, 780 артиллерийский полк, 338 отдельный саперный батальон, 249 отдельная разведывательная рота, 400 отдельная рота связи, 250 отдельный медико-санитарный батальон и другие подразделения.

6 августа 1943 года дивизия, находясь в составе 5-й Армии Западного фронта, получила приказ прорвать оборону гитлеровцев на рубеже: Секарево, Петрикино и наступать в направ-

лении Мартыновка, совхоз Алексино (юго-восточнее города Дорогобуж), в общем направлении на Смоленск. В этих боях дивизия и получила первое боевое крещение.

Впоследствии дивизия сходу форсировала Днепр в 4-х километрах южнее деревни Головино, освобождала Смоленск. За отличные боевые действия, проявленные при освобождении Смоленска, личному составу Верховным Главнокомандованием была объявлена первая благодарность. Затем были марш в направлении Витебска, форсирование рек Малая Березина, Большая Березина, бои за Белоруссию, марш на Витебск. В районе г. Невель 207 стрелковая дивизия влилась в состав 3-й Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. Армия формировалась осенью 1941 года в Горьковской и соседних с ней областях. Штаб армии формировался в г. Горьком. В составе 3-й Ударной армии, войдя в ее 79-й корпус, 207 стрелковая дивизия воевала до окончания войны. Из-под Витебска её боевой путь лёг через г. Пустошка, г. Себеж, реку Великую, Латвийскую ССР, через знаменитую Лубанскую низменность, через болота и зажженные немцами торфяники.

26 сентября 1944 года 207 стрелковая дивизия вышла к Западной Двине и на подручных средствах форсировала её, а в середине октября дивизия прижала врага к берегу Балтийского моря. В конце декабря части дивизии вместе со всей 3-й Ударной армией была переброшена из района Елгавы (Латвия) по железной дороге под Варшаву. 3-я Ударная армия вошла в состав 1-го Белорусского фронта.

Дальнейшему боевому пути 598 стрелкового полка в составе 207 стрелковой дивизии посвящается моя книга.

## Глава первая. Освобождение Польши

### *Декабрь 1944 года*

Эшелон из разнокалиберных товарных вагонов и платформ медленно но верно пробирается на юго-запад, вслед за ушедшими фронтами. В середине воинского эшелона – несколько теплушек: большую группу резерва офицерского состава 3-го Прибалтийского фронта из городов Валги и Валки<sup>1</sup> направляют на другой фронт. Среди этих офицеров еду и я, младший лейтенант пехоты. Мы погрузились в небольшой вагон, один из тех, на котором ещё в довоенное время как штамп стояло «40 людей или 8 лошадей». Лошадей с нами нет, а людей едет как раз сорок или больше того. На какой фронт везут – никто толком не знает. Все строят догадки и предположения. Станций нет: одни обгорелые развалины; по обочинам – скелеты сожжённых вагонов; пустыри и безлюдье. Эшелон часто и подолгу стоит, мы выпрыгиваем из вагонов. Несмотря на конец декабря, здесь довольно тепло. Мне, сибиряку, это непривычно, и я всюду хожу без шапки.

Офицеры, едущие в эшелоне – молодые ребята, сильные, подвижные, жизнерадостные. Едва ли здесь есть кто-то старше тридцати лет, в основном двадцатилетние, как я. И звания все – младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, редко – капитан; старших офицеров среди нас нет, кроме одного майора – начальника эшелона. Едем мы в неизвестный, однако новый мир – на фронт, о котором каждый столько мечтал. Чувствуем, что становимся участниками решающих, исторических сражений – и живём этим чувством. Об этом никто не говорит, но дух этого царит в каждом, переполняет, выливается наружу в нетерпении – скорее попасть на фронт. На длинных стоянках кого-то ругаем, нетерпеливо бродим вдоль эшелона, собираемся группками вокруг знатоков прибауток и анекдотов, но самая большая толпа там, где разговор о последних известиях с фронта.

О чем бы ни говорили, самый жгучий вопрос, который интересует всех: на какой фронт везут? У всех тайная надежда попасть туда, где сейчас идут или готовятся большие, главные сражения: на 1-й Белорусский, стоящий уже у Варшавы или на 2-й Белорусский. Никто прямо и откровенно не говорит о своём желании, это считается мальчишеством. Едут на фронт, а не куда-нибудь. Офицеры, не ребятишки... Кажется, те, что постарше, фронтовики – таких немного, всего несколько человек – нарочито спокойны, говорят как об общеизвестном:

– Прибалтика освобождена, дел серьезных здесь нет...

– Третий Прибалтийский расформируют.

– К Рокоссовскому<sup>2</sup> едем, под Варшаву...

Младший лейтенант, совсем мальчишка, не верит в своё счастье.

– Хорошо бы туда: там будет главная заваруха...

Я понимаю его: меня мучают те же вопросы. Но я никого не спрашиваю, боясь разочароваться ответом.

– Запрут под Кенисберг...

– Там до конца войны – «бои местного значения...»

Фронтвик с превосходством возражает:

– Куда запрут – тебя не спросят...

---

<sup>1</sup> Города Валга Эстонской ССР и Валка Латвийской ССР разделены крохотным ручейком. В ноябре-декабре 1944 г. в этих городах размещался 36 отдельный полк резерва офицерского состава 2-го Прибалтийского фронта. Наша казарма размещалась в г. Валка, а столовая в г. Валга. Мы шутили: живём в Литве, а обедать ходим в Эстонию.

<sup>2</sup> В ноябре 1944 г. маршал Г.К. Жуков сменил К.К. Рокоссовского на посту командующего 1-м Белорусским фронтом. Но об этом в эшелоне стало известно лишь по прибытии под Варшаву.

Наконец, эшелон повернул на юго-запад и у Бреста пересёк польскую границу; отсюда осталась одна дорога – на Варшаву. В вагонах царит приподнятое настроение, хотя никто не радуется открыто и громко. Моё место – на верхних нарах; слышу прямо подо мной, на нижних, переговариваются двое офицеров.

– Под Варшаву, а там и на Берлин...

– До Берлина ещё дотопать надо... Фриц в гости нас не приглашал, – хрипловатый, сдержанный голос. Я догадываюсь, кто это разговаривает.

– Гитлер тотальную мобилизацию объявил: нас ждёт.

Разговаривают теснящиеся у чугунной круглой печурки. Разговор о предстоящем полном освобождении Варшавы, Польши, о том, какими тяжёлыми будут бои в Германии, за Берлин, брезгливо – о Гитлере, Геринге, Геббельсе.

Не сплю, слушаю, незаметно для себя чему-то удивляюсь, и потом уже догадываюсь, чему: никто не говорит, что немцы могут где-либо остановить наше наступление. Разговор идёт рассудительный, деловой, без бахвальства; о взятии Берлина – как о решённом. Хотя я не участвую в разговоре, его тон передаётся мне: будем в Берлине. Среди других – я.

Со старшим лейтенантом Василием Григорьевичем Коноваловым мы познакомились в первый день пути.

Устраиваюсь на ночлег, расстилаю шинель на верхних нарах. В изголовье кладу пилотку и полевую офицерскую сумку. Рядом, у окна расстилает шинель старший лейтенант. Плотно завинтил окно, снял ремень гимнастёрки, разулся, растянулся на шинели, поворачивается ко мне:

– Может, завтра на станции соломы найдём. Кто знает, сколько суток будем ехать.

Ночью, замёрзнув от сквозняка, мы сидим с ним у чугунной печи. Поезд стоит на какой-то станции. Угля осталось мало, до утра не хватит: мы идем с ним к паровозу, выпрашиваем у машиниста уголь и, перепачканные, возвращаемся, докрасна разжигаем чугунную печь. Познакомились.

– Коновалов.

– Ильинич. Откуда родом?

– Из Кяхты.

– Сибиряк?! – Я обрадовался. – Я тоже сибиряк. Из Омска. Там и военное училище закончил. А курсы «Выстрел» – в Новосибирске.

Коновалов среднего роста, худощав. У него прямые, черные как смола волосы, густые и такие же черные брови и глаза; лицо, как мне сразу показалось, с монгольским рисунком и смуглым оттенком. Под крышей вагона, сбоку, у двери, квадратный керосиновый фонарь; фитилек почти не дает света; на ходу фонарь вздрагивает и раскачивается, тень от печной трубы ползает по потолку. По вагону катается разноголосый храп. Мы сидим с Коноваловым у печи вдвоём. Когда он, сутулясь, наклоняется к дверце печки, прямые, густые и жёсткие волосы его рассыпаются, и он поправляет их короткой и сильной, разработанной кистью, на которой у двух пальцев нет конечных фаланг.

Разговор бессвязный. Греемся и молчим. Но я узнаю, что Коновалов едет сейчас из Ленинграда, где лежал в госпитале. У него на гимнастёрке орден Красной Звезды и значок «Гвардия». Заметив мой взгляд, он поясняет, что последний год воевал в 10-й Гвардейской Армии, на 2-м Прибалтийском фронте. О себе он говорить то ли не хочет, то ли не любит, и, хотя по характеру, видимо, очень деловит и заботлив, выглядит молчаливым и очень спокойным. «Каратаев», называю его про себя, вспомнив Платона Каратаева.

По другую сторону на нарах спит младший лейтенант. Белокурый; простоватое лицо, деревенское, с припухшими по детски щеками. Днем, когда на нарах никого нет, я забираюсь

туда, в уединение, и пишу. Увидев в моей толстой с клеенчатой корочкой тетради стихи, он стал просить меня дать ему почитать. Я уступил. Прочитав, он, сильно краснея, просит:

– Дай перепишу. Зазнобе своей пошлю... От себя, как сам придумал. Можно?

Я удивлён его странной просьбой, но его желание льстит мне и я соглашаюсь.

– Я только имя заменю... Ее имя поставлю.

Переписав, он зовёт меня на верхние нары и там, вполголоса, чтобы никто больше не слышал, читает стихи, уже переписанные в письмо к любимой в село, где она живет и откуда сам родом. Он очень старается вложить в чтение и особенно в добавленные им самим слова и строки свои, первые и видимо очень сильные чувства. Чужое имя, вставленные им слова неестественно «выпирают и торчат» в моих стихах, но я не хочу расстраивать влюблённого парня и хвалю его переделки.

О дороге во фронтовом блокноте я записываю телеграфно:

*«14. XII.44. В 4 ч. 15 м. наконец я оставил Валгу. Еду к Рокоссовскому под Варшаву.*

*15. XII.44. ...Рига.*

*17. XII.44. В 22.00 пересекли латвийско-литовскую границу.*

*18. XII.44. Стоим в Вильно. Красивый вокзал почти не разрушен.*

*19. XII. В 14.30 пересекли литовскую границу. Мы в западной Белоруссии.*

*20. XII. Сутки стоим на станции Лида.*

*21. XII.44. 19.45 пересекли польскую границу. Мы в Польше. Мост через Буг разрушен».*

Вот уже который день по обе стороны железной дороги тянутся развалины бывших станций, сел, городов. Много читал и слышал, видел в кино следы звериной жестокости немцев, но сейчас, попав сюда, не могу понять: как? зачем? почему? – Немецкие фашисты? Но они все же разумные земные существа. Все, что можно было изуродовать и уничтожить, на этой земле было уничтожено. Было тяжело, даже страшно от сознания того, когда и как начнётся здесь новая жизнь. На остановках у вагонов собираются поляки – нищие, дети, старики и старухи. Тянут грязные костлявые ладони, просят хлеб, перемешивая польские слова с русскими. Больно смотреть на синие лица трясущихся от холода и сырости детей, мы кормим их, отдаём все, что можем отдать.

Молоденький лейтенант «набрался», шумит на весь вагон, пристаёт с объяснениями в дружбе. Его успокаивают. Сейчас он храбр, кричит: «Меньше взвода не дадут, дальше фронта не пошлют». Коновалов кивает на храбреца, говорит, ни к кому не обращаясь:

– Взводом он ещё не командовал, на фронте не был. Взводом в бою командовать труднее: кроме ума ещё и смелость нужна.

Эшелон стоит несколько часов. Далеко отлучаться запрещено: предупреждают – эшелон может тронуться каждую минуту. Бесцельно бродим вдоль вагонов, толпимся у вагонов. Станция забита эшелонами.

Высокий, широкоплечий, с крупной головой капитан громоздится над маленьким лейтенантом, в который раз повторяет:

– Подполковника... неожиданно встретил. Вместе воевали в Третьей Ударной. Полком командует. Зовет: «Иди ко мне, стрелковый батальон дам». – Предложение, видимо, очень приятно капитану, и он начинает рассказывать снова: – Вдоль эшелона иду... Затащил он меня в свой вагон: ординарец вмиг стол накрыл, трофейный коньяк, закуска... Иди, говорит, ко мне, комбата два у меня убило, принимай батальон, пятьсот штыков... Он меня знает, верит, ему хочется надёжных ребят собрать. А что, подумаю, подумаю, возьму-ка я батальон... Всю 3-ю Ударную армию на запад перебрасывают...

Я стою почти рядом. Круглое лицо капитана расплывается в довольной улыбке. Мне нравится его добродушная простота и откровенье. Ударная армия, о которой он говорит, представляется мне огромным железобетонным, гранёным, закованным в железо тараном, который ломится вперёд, сметая всё на своём пути.

Ночью просыпаемся: где-то совсем недалеко бомбят немецкие самолёты. По вагонам передают: приготовиться, на следующей станции выгрузка...

*Строчка из дневника:*

*«2. XII.44. 3.00 ст. Мрозы. Место выгрузки».*

Солнечный и морозный декабрьский день. Откатив дверь вагона, мы выпрыгиваем на насыпь. Вдоль вагонов бежит старший офицер:

– Скорее, скорее выгружайтесь и выходите за станцию: немцы сейчас могут налететь. Скорее!

Наискосок от нашего вагона – старенькое деревянное здание станции. На козырьке название. Не по-русски, но и не по-немецки. «Мрозы – Морозы, значит» – кто-то громко прочитал, и перевёл: «По-русски – «Зима»». На другом станционном здании прикреплен огромный указатель. По красному фону белыми буквами написано: «До Варшавы – 50 кл. До Берлина – 420 кл.». Мы торопливо проходим мимо станционных построек и собираемся за станцией. Кто-то знает о прибытии нашего эшелона, обо всём уже позаботился и всё приготовил. Нас выстраивают повзводно. Наш взвод отправляется в деревню, расположенную неподалёку. Очень холодный, ветреный день. Идёт снег.

Польская деревушка. Два десятка чёрных изб – маленьких, в два окошка, и крытых соломой; вокруг – для тепла – высокие соломенные завалинки. Полусгнившие убогие дворы. У избы, в которую поселили нас, двора нет: одиноко и сиротливо кособочится она у неторной дороги. От избы к избе передают: получить горячий обед, на ночлег располагаться здесь, а утром ждать команды.

Назавтра нас действительно переводят в другую деревню, в нескольких километрах от первой, и снова распределяют по избам. В избе нас трое. Познакомились. Старший лейтенант Овчинников, старший лейтенант-политработник (фамилию его я, к сожалению, забыл, так как никогда больше его не встречал). Маленькая избёнка: два подслеповатых окошечка на улицу, одно – во двор; кривая русская печь, деревянный скрипучий стол, вдоль стен – лавки; в красном углу – тёмные лики святых. Мы знаем, что стесняем хозяев, и поэтому молчим, пока не познакомились с ними и друг с другом. Овчинников сидит за столом, я у стены на лавке; политработник, погружённый в какие-то свои размышления, ходит по избе: три шага вперёд – три назад, картинно и неестественно.

Хозяин избы – худощавый, с болезненно-бледным худым лицом, реденькими рыжеватыми волосами, тощей, запущенной рыжеватой бороденкой. Все его хозяйство – клочок земли, сейчас занесённый снегом, навес на дворе и плохонький амбар. Никакой скотины не видно. Хозяин, надев привычным жестом заплатанную одежку, выходит озабоченный во двор. Я наблюдаю за ним в окно: зашёл в амбар, потом постоял под навесом; скота нет, делать хозяину нечего, и он возвращается в избу. Хозяйка, такая же как и он, худенькая и маленькая, сутулится над горшками у печи, готовит что-то для нас, хотя мы категорически предупредили, что для нас ничего готовить не нужно: «Мы на армейском довольствии».

Хозяин садится рядом на лавку и заводит разговор. Мы говорим по-русски, а он – то по польски, то, путая и перевирая слова, – тоже по-русски. Говорит всё об одном: как жилось в панской буржуазной Польше и как прошли пять лет в немецкой оккупации. Старший лейтенант-политработник в этом разговоре на коне: он немного знает польский и в курсе всех внутренних и внешних польских дел за последние годы. Разговор идёт примерно так:

– Сентябрь 1939 года. Слава-Сладковский, маршал Рыдз-Смиглы, – упоминает политработник.

Наблюдаю за хозяином, он, кажется, вздрогнул и побледнел, что-то заговорил быстро и горячо, качая головой как о большом, большом несчастье. Хозяйка перестаёт вертеться у печи и, возбуждённая, тоже что-то горячо и горестно рассказывает нам.

– Да, это трагедия Польши. Польшу предали тогда и Англия, и Франция. Отдали Гитлеру.

– А-а, а, – застонав, качает рыжей головой хозяин.

– Сикорский хочет, чтобы Польша осталась буржуазной. Такой же нищей какой была до прихода немцев, – говорю я хозяину.

Ему что-то непонятно в этом моем заявлении: кто-то видимо твердит другое. Он молча, не отрицая и не соглашаясь, уставился в столешницу. Его глаза глубоко запали в тёмно-синие глазницы, и мне не видно их выражение. Разговор переходит на то, как жили при немцах. Мы спросили о самом страшном, о самом больном. Хозяйка что-то пытается нам объяснить, но слезы душат её, и она только молча вытирает щёки кончиком цветного фартука. Хозяин объясняет нам, какие платили немцам налоги. Слова – польские и русские, жесты, мимика. Разрываемый горем от воспоминаний, он раскидывает длинные костлявые руки по пустым углам своей избёнки, сует их в окно, указывая на пустой двор и мы понимаем, что немцы забрали всё, всё что могли, а перед приходом Советской Армии угнали весь скот, переловили последних кур, и на дворе у него ничего нет: ни скотины, ни птицы; отступая, сожгли и вытоптали поля и в амбаре у него нет ни хлеба, ни семян, в подполье осталось немного картошки.

Потом мы говорим о новом правительстве Польши, называем председателя Краевой Рады Народовой Болеслава Берута и председателя Польского комитета национального освобождения Эдварда-Болеслава Осубки-Моравского, первых генералов Войска Польского Берлинга, Сверчевского, Завадского, Поплавского. Роля-Жимерского, которых по газетам все мы хорошо знали. Мужик преобразился, он поражает нас информированностью о решениях и делах нового польского правительства.

Знает обо всем и хозяйка. Они легко и просто, словно ерчь идёт об их родных и близких, называют фамилии всех руководителей Польской рабочей партии и нового правительства. Особенно хорошо помню, с каким уважением они называют генералов Войска Польского, и не только по фамилиям, но строго по должности и воинскому званию, даже знают, откуда они родом, что раньше делали и где служили в старой Польше.

– Роля-Жимерский...

– О, да, да... Генерал Роля-Жимерский, – с восхищением повторяет хозяин.

– Поплавский.

– О, да, да... Генерал Поплауски, Поплауски, – несколько раз повторял хозяин, а за ним и хозяйка, называя фамилии генералов немного по-другому, чем мы, с выделением буквы «с» и укорачивая окончание.

Принесли из армейской походной кухни обед. Попросили у хозяйки миски и разделили свой суп и кашу, предложили отобедать с нами. Они охотно согласились, но поели совсем мало. Хозяйка вскипятила чай, пригласила:

– Прошу пане пить горбатый...

Мы охотно приняли угощение. За ужином разговор продолжался. Мы объяснили хозяину и его жене гуманные цели нашего прихода, твердили, что, освободив Польшу, уйдём домой, что у нас тоже много разграблено немцами, что нам не нужна ни польская земля, ни польские богатства.

Помню обрывки этого разговора.

– Русские всегда помогали полякам.

– Польша, Литва, Русь – Грюнвальд... – вспоминал хозяин и улыбался, видимо счастливый, что знает об этом историческом событии.

– Ванда Василевская.

– Да, да... Василевская.

Снова возвращаемся к будущей жизни Польши.

– Народ не должен допустить панского господства. Иначе поляки останутся в нищете... – твердим наперебой мы, не очень уверенные, что нас понимают.

Хозяин поспешно оделся и куда-то ушел. Скоро вернулся, положил на стол сверточек в холщевой тряпице. В тряпице оказалась какая-то польская газета, сильно потертая на сгибах. По виду – газета обошла, и, может быть, не по одному разу, всю деревню, и, наверное, была единственным экземпляром.

Никто из нас не мог читать по-польски, но мы молча смотрели на газету, на озабоченное, серьезное лицо хозяина. Хозяйка перестала возиться с посудой и села за стол, приготовившись слушать; судя по виду, она слушала эту газету уже много раз, но сейчас еще раз хотела убедиться, что там написано.

Хозяин, развернув газету, читал по складам, водил по строчкам пальцами. Мне подумалось, что нынешние времена для них – это наш восемнадцатый год. Наши крестьяне, наверное, вот так же читали Ленинский декрет о земле. Все крестьяне в чем-то одинаковы. Хозяйка иногда просила перечитать мужа уже прочитанное место, он охотно перечитывал и они, довольные, что-то обсуждали. Но по их лицам мы видели, что им многое непонятно и они не могут поверить всему, что написано. Читая, хозяин пытался перевести и объяснить нам текст (судя по заголовку, по заголовку это было какое-то официальное решение правительства) и снова показывал на двор, на стены. Мы понимали, что он хочет, чтобы все было так, как написано в газете, но верить ещё боится, боится обмана, потому что ничего подобного он ещё не читал и не слышал, а с обманом до сих пор встречался много лет и каждый день. Меня удивило, что в качестве одного из аргументов в пользу написанного хозяйка несколько раз повторила, что о написанном говорил в церкви священник.

Мы рассказываем о жизни крестьян-колхозников в нашей стране, о колхозах, об их собственности на землю и, конечно, убеждали хозяина, чтобы и в их стране земля была у хлеборобов, а не у панов. Рассказывая, много показывали руками, что означало – объединиться, работать вместе, изгнать панов. Понимает ли он нас? Нам казалось – понимает, и, краснея, соглашается; но, иногда, я видел, что он не имеет о жизни в нашей стране, о нашем государственном строе, о колхозах ни малейшего представления. И сейчас не идёт дальше простого и очевидного сравнения: немцы грабили его как раба, ни с чем не считаясь, а русские отказываются взять несколько картофелин и сами стараются угостить его. И то, что в газете написано, что земля – крестьянам, а власть – народу, о независимой и свободной Польше будущего – всё это крестьянами, как мы чувствовали, пока не воспринималось реальной действительностью. Нужно было время.

На дворе совсем стемнело. Вдруг на улице, плотно прижимаясь к промёрзшему окну, засветилась большая, чуть ли не метр в диаметре, пятиконечная звезда. Засветилась желтоватым неярким светом и медленно стала поворачиваться. Мы встrepенулись от неожиданности. Но видя, что хозяева заулыбались, успокоились и, подражая старухе и старику, чинно расселись на лавках. Хозяйка объяснила:

– Рождество Христово нынче... Славщики идут.

Звезда погасла, а через минуту-другую сырая чёрная дверь открылась и, мешая друг другу, в избёнку стали входить мальчишки и девчонки. Их было около десятка, больших, лет 10–12, и маленьких, одетых в причудливые лохмотья, обутих в непонятные не то лапти, не то какие-то разномастные рваные онучи. Впереди всех, прижав к груди озябшие красные ручонки, стояла крохотная девчушка в сильно заплатанной одежонке, укутанная, судя по всему, в старенький материн платок. Смущённые, видимо, неожиданной встречей с нами, они остановились у самых дверей, прижимаясь друг к другу. Через минуту-другую осмелели, низко и дружно поклонились всем нам и напряжённо и сосредоточенно что-то пропели, поклонились снова и молча стали ждать гостинцев.

Раскрасневшаяся, тронутая до слез хозяйка, достаёт из шкафчика и сначала накладывает себе в фартук каких-то домашних печенюшек, а потом раздаёт каждому, но они сразу же передают гостинцы одному, по росту – более старшему мальчику, который опускает их в

холщовую котомку, висящую у него на плече. Мы тоже передаем славщикам комочки сахара из своего сухого пайка – других гостинцев для детей у нас не находится. Они кланяются нам ещё раз и, нестройно прощаясь, высыпают из избы. Хозяин и хозяйка объясняют, что немцы запрещали праздновать какие-либо праздники, вечером ходить по деревне, и вот первое Рождество, которое они празднуют, как изгнали немцев, и потому, хоть и нет никакого достатка, во всей Польше сегодня большой праздник.

Сержант знает дорогу, и ведёт нас уверенно. Сначала мы шагаем просёлком, полузанесённым снегом, потом по тропинке сворачиваем в высокий и чёрный бор. Сержант выполняет чей-то приказ, на наши вопросы о том, куда, в чьё распоряжение мы направляемся, отвечает коротко, что он ничего не знает, ему только приказано проводить нас из деревни. Он подводит нас к небольшому снежному бугорку, под который идёт чёрная низкая дверь и передаёт, что нам приказано размещаться в этой землянке и ждать последующих приказаний.

В землянке уже живут несколько офицеров, пылает печь, пахнет жилым. Старший лейтенант Коновалов встаёт мне навстречу. Мы оба рады и тискаем друг друга как старые друзья. Разговор ведется о маршалах Георгии Жукове и Константине Рокоссовском, недавно поменявшихся местами. Про обоих говорят уважительно, но в разговоре улавливается гордость, что нами теперь командует маршал Жуков, а Рокоссовский принял командование вторым Белорусским фронтом.

– Коли назначен Жуков, то здесь главное направление, главный удар, – единодушно высказывается общее мнение.

– Отсюда прямой путь на Берлин...

– У этого рука не дрогнет, жёсткий мужик...

Кто-то из офицеров много слышан о Рокоссовском, рассказывает как очевидец:

– Под Москвой он командовал армией. Перед самым наступлением, случалось, ходил не только по траншеям, прямиком, перед пулями не кланялся. Пришёл к солдатам, просит: ребята, возьмите Михайловку сегодня ночью. Очень прошу вас...

Маршалы встают перед нами разными: Жуков – суровый, даже жёсткий и требовательный, Рокоссовский – красивый, рослый, мягкий и добрый.

Высокие и необыкновенно стройные сосны тесно толпятся вокруг нас. Вершины не видны в темноте, кажется, они где-то очень высоко, в небе. Они торжественно двигают могучими кронами и сдержанно шумят. Между стволами торная тропинка. Каждый клочок земли между соснами занят землянками. Они создают то совсем ровные улицы, то беспорядочно разбросаны и в темноте неожиданно появляются перед нами таинственным огоньком, пробивающимся через худую и неплотно прикрытую дверь, или вырастают заснеженным бугорком с тонкой дымящейся трубой. Быстрый в движениях коротконогий Коновалов идёт впереди меня так, словно ходил тут всю жизнь, неожиданно останавливается, наклоняется ко мне, шепчет:

– Подможем, в гости может позовут, – и быстро шагнув к тоненькому дровоколу, берет у девушки топор – Разрешите помочь, недорого возьмём.

Девушка охотно отдаёт топор и сама отходит в сторону. Василий поднимает топор, пальцем проверяет остроту:

– У... у...у... На таком не то что до Варшавы, до Берлина доехать можно...

Изрубив и расколов все, что было у землянки, мы совершенно заслуженно приглашаем в гости. Было уже поздно и гостили у девушек мы недолго, а прощаясь, на завтра пригласили их к себе. На следующий вечер к нам в гости пришла одна девушка, когда мы уже никого не ждали. Пришла поздно, когда мы чего-то поужинали и собирались укладываться на свои соломенные постели.

– Шура<sup>3</sup>, – назвала она своё имя, представляясь всем нам.

---

<sup>3</sup> Имя женщины автором сознательно изменено.

Это была не та девушка, которой мы помогли расколоть дрова; мне даже показалось, что вчера в землянке я эту гостью не видел.

В эту ночь дежурить у печки, которую мы почему-то называли «кометой», должен был я. Все улеглись спать, но Шура не уходит; мы остались сидеть вдвоём. При свете печурки я приглядываюсь к гостье. Вся она какая-то грязная, запущенная, в замызганной и мятой форме. Разговор наш не клеится. Никакого взаимного интереса не появляется, темы для разговора не находим. Она вдруг предлагает:

– Давай рассказывать анекдоты, – и первая спрашивает: – Какая разница между женщиной и бутылкой?

Совсем не знаток анекдотов, я даже не пытаюсь найти ответ. В темноте катится Шурин смешок:

– Не знаешь? Эх ты... Бутылку сначала наливают, а потом затыкают, а женщину сначала затыкают, а потом заливают...

Меня коробит её цинизм. Девушка, женщина всегда была для меня недоступной и святой. А на фронте я представлял её только благородной и мужественной, сердечной, в белом халате, склонившейся над раненым, готовой на все ради сохранения его жизни. Разговор наш споткнулся. Почувствовав полное отчуждение, она стала собираться и скоро ушла. Прикрыв за ней дверь, я затыкал соломой щели между косяками и плохо подходившей дверью; кто-то заворочался в углу:

– Упустил...

– Ушла.

– Эх ты... Что, не понял, зачем она пришла? Не брался бы дежурить...

Мне стало отвратительно от одного представления, что с этой случайно встреченной женщиной у меня могли быть близкие отношения. Я бы совсем забыл об этой ночи, об этой женщине, если бы судьба не сводила меня с ней ещё несколько раз на фронтовых дорогах.

Мы, группа вновь прибывших офицеров, выстраиваемся на опушке леса. Но это уже другой лес. Сосны расставлены редко, бор не обжит: ни землянок, ни повозок. Приятная для меня встреча: младший лейтенант Николай Заволостный. Мы вместе были на 2-м Прибалтийском фронте, жили в одной комнате в г. Валка-Валга. В одном эшелоне ехали сюда, но где-то потерялись. И вот мы назначены в один полк. Мы рады встрече и коротко жмём друг другу руки.

Перед строем прибывших – начальник штаба полка майор П.П. Волгин. Майор молодой, с незагорелым бледным и худощавым лицом; одет в новый полушубок, на ногах – добротные яловые сапоги; стёганные ватные штаны нависают над голенищами, и из-за этого кажется, что сапоги ему малы. Волгин поздравляет нас с прибытием в полк, но куда-то очень торопится.

– Товарищи офицеры, вы будете воевать в прославленном 598 стрелковом полку, 207 Краснознаменной дивизии, которая входит в 79 стрелковый корпус 3-й Ударной Армии. Наша армия начала формироваться в г. Горьком, защищала Москву, а дивизия начала боевой путь, освобождая Смоленск, Прибалтику. Теперь 3-я Ударная Армия входит в 1-й Белорусский фронт. Командир нашего полка подполковник Санджиев...

Майор достаёт из планшета лист бумаги и зачитывает приказ командира полка о нашем назначении:

– Младший лейтенант Заволостный, вы назначаетесь командиром третьей стрелковой роты первого батальона... Старший лейтенант Коновалов – командиром седьмой роты третьего батальона, старший лейтенант Овчинников – командиром восьмой роты, младший лейтенант Ильинич – командиром девятой роты третьего батальона. Поздравляю с назначением

После он велит немедленно разыскать командиров батальонов – они где-то здесь в лесу, штабные землянки ещё не построены – и доложить им о нашем прибытии и назначении. Поясняет:

– Личного состава рот пока нет: в Прибалтике полк понёс большие потери, но пополнение поступит уже завтра.

Мы трое коротко жмём друг другу руки, а после спрашиваем, где сейчас может находиться командир третьего батальона. Волгин спохватывается:

– Командир третьего батальона ещё не назначен, будете находиться пока в распоряжении штаба полка.

Он торопится и уходит.

Чтобы скрыть от противника сосредоточение войск, размещаться в населённых пунктах не разрешалось, поэтому части нашей 207-й стрелковой дивизии, как и вся вся армия, стояли в лесах. От леса, где стоит наш 598 стрелковый полк, до окраинных изб польской деревни Якубово меньше километра. Заснеженное поле пологой горбинкой спускается к реденькому порядку чёрных низкорослых изб. Снег блестит, отражая солнце, слепит глаза. Сегодня 1 января 1945 года. Не выбирая пути, неглубоким снегом, целиной, мы идём от леса к крайней избе, решив найти в деревне приют на несколько часов, чтобы отметить Новый год и наше назначение. Впереди, тяжело утаптывая снег, идёт старший лейтенант Овчинников, за ним – Василий Коновалов, замыкаю я. Третьего батальона ещё нет. Он будет формироваться заново, мы первые его солдаты и офицеры. Получив сухой паек и спирт на несколько дней, мы отпросились у дежурного по полку отлучиться до вечера в деревню, и вот – идём.

Я хорошо помню этот новогодний пир и эту польскую избу на окраине забытой Богом польской деревушки Якубово, в нескольких километрах от городка Миньск-Мазовецки, в 50–60 километрах от Варшавы. Увидев нас в окно ещё на подходе к избе, хозяйка встречает нас на улице. Она укутана в какое-то тёмное тряпье и выглядит старухой. Мы объясняем, как можем, зачем пришли. Она в ответ что-то быстро говорит и показывает на стены, на окна своей избы, переводя взгляд и указывая на другие, соседние, большие избы, из чего мы понимаем, что избёнка у неё так мала, что поместиться в ней троим мужчинам будет трудно, может быть паны офицеры пойдут в другой дом, побольше.

Но мы просим снова, она распахивает низкую, как у бани дверь и с поклоном приглашает:

– Прошу пане, прошу пане...

Четыре закопчённых стены, за дощатой перегородкой без дверей – кути; три окошка, наполовину заложённых для тепла соломой; в углу божничка с тёмными лицами святых; в кути – деревянный, ничем не покрытый стол; у входа деревянная кровать, на которой, закутанная в лохмотья, сидит девушка в шапке кудрявых волос и с милым личиком; она встречает нас радостной детской улыбкой и смотрит на нас немигающим взглядом крупных и круглых серых глаз, в которых радость и испуг; сильнее кутаясь в лохмотья, девушка хочет подняться, но не может: мы догадываемся, у неё парализованы ноги. Заполнив почти всю избу, мы молча стоим, удручённые нищенством, и решаем: поискать другую избу или вернуться в лес и у костерка отпраздновать и назначение, и Новый год. Хозяйка замечает наше смущение, низко кланяется, повторяет:

– Прошу пане, прошу...

Она искренне приветлива, и теперь уже мы не хотим её обидеть: она ведь поняла бы, что мы, советские офицеры, пренебрегли её гостеприимством, увидев, что она до последней крайности нищая.

Снимаем промёрзшие шинели. Хозяйка суетится в кути, у печи, а дочь как-то странно улыбается, тянет к нам руки, словно просит, чтобы мы подняли и поставили её на ноги и пытается что-то сказать: она беспомощно разевает рот, высовывает трепещущий язык, губы её розовые кривятся и синеют, словно она задыхается, но сказать так ничего и не может, а вместо слов из её горла вырывается жалобное мычание, показавшееся мне стоном. И тут мы понимаем, что девушка ещё и глухонемая.

Я перестаю раздеваться, мне хочется уйти. Овчинников тоже смущён и не знает, как ему поступить. Коновалов словно пришёл со двора в свой дом, разделся, устроился на табуретке у стола в кути и о чем-то уже объясняется с хозяйкой. Он спрашивает хозяйку о муже, о болезни дочери, о хозяйстве. Запас польских слов у него не больше нашего, он дополняет их жестами, мимикой, и кажется, что у них с хозяйкой ведётся совершенно деловой и даже немного тайный от нас разговор. Коновалов категорически отклоняет предложение хозяйки приготовить что-либо для нас и только поясняет, что нам нужен чугунок, сварить кашу из концентратов. Чугунок нам выделяется. Овчинников берётся быть нашим поваром.

Разговор ведётся главным образом о здоровье девушки. Она словно понимает это и улыбается, тянет к нам свои живые руки и все силится что-то сказать. Тонкие черты бледного лица, круглые серые глаза, длинные вьющиеся волосы. Когда она что-то хочет нам сказать, бледнеет от напряжения, лицо покрывается испариной, щеки болезненно рдеют... Жутко смотреть на её милостивое, с мягким нежным овалом лица, искажённое судорогой. Забыв, что она не слышит и не понимает меня, я прошу её не пытаться говорить нам, мы все знаем, видим, понимаем. Она, кажется, понимает меня, успокаивается, и большие серые глаза её струятся и живут всей красотой расцветающей юности. Ни паралич ног, ни немота, не остановили в ней расцвета красоты. В тот новогодний день девушке шёл, наверное, восемнадцатый год.

Никто из нас не видел своей стороны во власти царя, капиталистов и помещиков. Мы мыслили собственным опытом и не могли представить послевоенную Польшу панской. Мы не знали и не представляли себе никакого разумного и справедливого государственного строя, кроме Советской власти, поэтому чистосердечно говорили хозяйке: «Война скоро закончится. В Польше власть возьмут рабочие и крестьяне. Неужели они пролили столько крови за освобождение своей Родины и отдадут власть над собой панам, бежавшим, предавшим их? Нет. И не будет больше в Польше богатых и нищих. Лечить будут бесплатно, каждый получит образование».

У Василия Григорьевича Коновалова обнаружили удивительные качества быстро находить общий язык с незнакомыми людьми, и он, казалось, не делает для этого никаких усилий.

– В каждой деревне врач будет, больница: заболел, иди, лечись, – объясняет он матери.

Она показывает, что платить ей за лечение нечем.

– Не надо платить... Лечить будут бесплатно...

Она, кажется, точно понимает его.

– Нет, нет, – тяжело качает она серой от преждевременной седины головой.

Несмотря на наши старания, мне кажется, она не может представить, как это может быть, и не скрывает, что не верит нам.

Тогда, за столом, каждый из нас немного рассказал о себе: нам предстояло вместе, в одном батальоне, воевать и хотелось знать друг друга. Захмелев, жестикулируя перед собой правой рукой с отрезанными конечными фалангами у двух пальцев, старший лейтенант Коновалов, шутя и смеясь, рассказывает о себе и своих товарищах разные фронтовые истории. Он откровенен и прост, смеётся так, что слезы выступают и искрятся у его чёрных глаз:

– Лежу я в окопчике. Немцев, вроде, не видно: не атакуют, ни об отходе не знаем. Слышу, гудит там что-то, и выползает на опушку полосатый «Фердинанд». Выполз, стволом поводит, поводит, словно зверюга какая мордой воздух понюхал и двинулся прямо на нас. Ну, думаю, сейчас он нам даст. Команду по роте отдал: «В окопы!» Как даст он рядом. Из-под земли солдаты потом меня откопали...

За шутками не замечаю я, что Коновалов ничего не рассказывает о себе. Только воспоминания о сыне оживляют его. Он достаёт из кармана фотографию сынишки и рассказывает, и смеётся. Не замечаю я и того, что о сыне он рассказывает по письмам не жены, а своей матери.

Через тридцать лет после войны жена Василия Григорьевича Лидия Константиновна показала мне пачку личных документов мужа. В пачке были справки из госпиталей, автобио-

графия и послужной список, написанный для комитета ветеранов Великой Отечественной войны рукой самого Василия Григорьевича. Эти краткие анкетные данные говорят, что до прибытия в 598 стрелковый полк старший лейтенант В.Г. Коновалов прошёл не одну фронтовую дорогу. Вот некоторые выписки оттуда:

*«...родился 20 марта 1914 года в г. Кяхта, Бурятской АССР, русский. Образование 9 классов.*

*...служил в вооруженных силах СССР...*

*...с июня 1939 года по декабрь 1939 находился в рядах Советской Армии, участвовал в боях с японскими захватчиками на реке Ханкин-Гол...*

*...рядовым с 10.1936 по 8.1942...»*

*Уже в годы войны: «...окончил военно-пехотное училище в 1942 г. в г. Сретенске. Командир взвода с 8.1942 по 8.1943... Командир роты с 8.1943 г. ... До 1-го Белорусского фронта воевал на Калининском и 2-м Прибалтийском фронтах...»*

*«УШ.1942 – командир взвода ПТР<sup>4</sup> 357 с.д. 1190 с.п. 3-й Ударной Армии, Калининский фронт.*

*7.06.1942 – 27.08–42. На излечении. Госпиталь № 435. М.С.Б.*

*27.08.1942 – 11.10.1943. Командир роты П.Т.Р. 357 с.д., 1190 с.п.*

*11.10.1943 – 25.11.1943. На излечении. Госпиталь 2793 ст. Шатки.*

*25.11.1943 – 15.01.1944 Командир роты 357 с.п., 65 с.д. 10 Гвардейской армии, 2-й Прибалтийский фронт.*

*15.01.1944 – 14.04.1944. На излечении. Госпиталь 1859. г. Асташков Калининской области.*

*14.04.1944 – 10 августа 44 Командир стрелковой роты 26 стрелкового полка, 7 Гвардейской (неразборчиво – дивизии или корпуса) 10 гвардейской Армии.*

*10.06.1944 – 13.07.1944. На излечении. Госпиталь 1077.*

*13.07.1944 – 2.08.1944. Командир стрелковой роты 8-й Гвардейской Панфиловской дивизии, 10 Гвардейской армии.*

*2.08.1944 – 29.*

*29.08.1944 – 25.10.1944. Командир стрелковой роты 56 Гвардейской Смоленской стрелковой дивизии 10 Гв. Ар.*

*25.10.1944 – 2.XI 1944. Ранен. Госпиталь № 1114, г. Ленинград.*

*36 Отдельный полк резерва офицерского состава (ОПРОС), 3-й Прибалтийский фронт».*

Из документов следовало, что до нашей встречи Василий Григорьевич Коновалов воевал на двух фронтах, в пяти различных полках, в пяти дивизиях и двух армиях, был шесть раз ранен и лежал в шести госпиталях. Ничего этого он не рассказывал, даже не упоминал о себе тогда за новогодним обедом в польской деревушке Якубово. Видя его разговорчивым, общительным – с хозяйкой и её больной дочерью, весёлым – за столом, тогда я воспринял его как простого, очень открытого и откровенного. Таким он был в жизни. А то, что он никогда и никому не рассказывал о своих фронтовых дорогах, было чертой его простоты и скромности.

Не в этот раз, а много позднее – за тридцать лет нашей дружбы, а где и когда – разделить во времени уже невозможно, я узнал, что отец Василия Григорьевича – красный партизан – погиб, гоняясь в Сибири за остатками белогвардейских банд, а мать, старый член партии, работает сейчас секретарём Кяхтинского Горсовета.

Не рассказал он в нашу первую встречу, не захотел беречь рану, что два его родных брата – оба танкисты – уже погибли: Иван – в первые дни войны пропал без вести, а Пантелеймон (в семье его ласково звали «Поня») пал при обороне Ленинграда, и там похоронен,

<sup>4</sup> ПТР – сокращенное название – противотанковое ружье.

может быть, на Пискаревском кладбище. А младшему из братьев, Николаю, ещё пятнадцать лет. Он бегаёт в школу.

Что рассказывал тогда о себе старший лейтенант Овчинников, я совершенно забыл. Я запомнил его таким... Небольшого роста, с крупной, уже полысевшей головой и серыми от седины висками. Он все хочет сделать сам, суетится и шумит, по своей инициативе и от избытка веселья и энергии распоряжается за нашим новогодним столом, стараясь угостить и нас, и хозяйку, словно все мы у него в гостях.

Первую миску гороховой похлёбки мы поднесли девушке. Она ест нашу армейскую горошницу как самый вкусный деликатес. Мне удобно наблюдать за каждым её движением. Я делаю это осторожно, чтобы она не заметила. Она вскоре забывает о нашем присутствии, съедает все и, возвращая матери пустую миску, смущается.

Иллюстрируя слово жеста и мимикой, я спрашиваю девушку, вкусна ли наша каша? Она поняла меня и утвердительно кивает в ответ, совсем как ребёнок, облизывает свою ложку и губы.

Что мог я в тот новогодний день рассказать Коновалову и Овчинникову о себе? Один казался мне пожилым, другой, с лысой головой – стариком. Может быть о том, что родился я в селе Иевлево, Ярковского района, тогда – Омской области, в семье учительницы и секретаря райкома партии; что у меня есть ещё три брата и сестрёнка; что старший из них – Фёдор, с которым мы родились в один день, – тоже офицер, где-то на фронте, но от него вот уже почти год нет писем, а младшие учатся – они ещё в школе там, в Сибири.

Может быть о том, что я и Фридрих в первую зиму войны, когда по возрасту нас не брали в армию, работали в Омске на оптико-механическом заводе, эвакуированном из Ленинграда. Я был токарем, а он – слесарем-лекальщиком. А когда вскрылся ото льда Иртыш и началась навигация, нас направили работать на пристань в Куломзино (район г. Омска на левом берегу Иртыша), где я работал дежурным электриком, а он – на угольном складе экскаваторщиком, загружал пароходы углем.

Как все мальчишки, живущие на Иртыше, мы мечтали стать моряками, подали заявление в Райвоенкомат. Но строгий и злой на нас (как нам тогда казалось) за наши совершенно справедливые требования взять нас на военно-морской флот работник Военкомата вернул нам заявление. Он сказал, как мог строго, чтобы мы ему больше не надоедали, что нас возьмут в армию, не забудут, когда придёт наша очередь, и выставил нас из Райвоенкомата.

Действительно, 15 августа 1942 года мы оба получили повестки. Нам было по семнадцать лет. Мальчишество закончилось. Нас зачислили во 2-е Омское военно-пехотное училище, которое мы закончили в марте следующего, 1943 года, получив оба первые офицерские звания – младший лейтенант.

Фридриха сразу же направили на фронт, я а ещё командовал стрелковым взводом в 119 Омском запасном стрелковом полку, потом снова учился на курсах «Выстрел» в г. Новосибирске на командира роты автоматчиков, потом недолго был начальником штаба пулемётного батальона в 109 Ялуторовском полку в г. Ялуторовске.

Мне страшно хотелось на фронт, одна мысль, что я ещё не воевал, уничтожала во мне все другие чувства и желания. Я писал во все инстанции, обивал пороги всех старших командиров, получая строгие разгоны за «нежелание готовить солдат для фронта», ненадолго успокаивался и начинал проситься снова. Все, кто был на фронте, казались мне счастливейшими из людей, а я сам – обойдённым судьбой. Каждый, кому только захочется, назовёт меня трусом. От этой мысли мне было неприятно, даже страшно, и я снова себе клялся, что должен немедленно попасть на фронт.

Выписка из блокнота тех лет:

*«7.7.44. Начал давно задуманную поэму «Боль моей души...»*

4.8.44. Закончил «Боль моей души», прочитал ее другу Т. Геннадью. Она ему понравилась больше, чем «Юргинская трагедия». Да, прошло уже 7 месяцев, как от Фридриха нет писем, Гриша, Родион и его отец убиты, Александра искалечена, один я в тылу. Что скажут они, вернувшись, что говорит мне совесть – вот боль моей души. Я долго думал об этом и написал... эту поэму.

6.8.44. Друзья мои Бразда А., Ярмоличев А., Патрин в числе 500 других едут в Н.К.О. Я, Терновых, Кривцов... остаемся. Я не в силах описать своей боли. Я написал рапорт – напрасно.

9.8.1944. Получил назначение... Но, куда? В Омск... в 39 ОЗСД <sup>5</sup> в Черемушки <sup>6</sup>. 15000 проклятий!.. Мысль, что я вновь буду служить в тылу, бросила меня в дрожь. Одна мысль: «Что я скажу тем, кто вернется с фронта, на их укор в глазах, на их вопрос: «Почему ты не воевал? Почему ты всю войну просидел в тылу?»

16 IX 44. К моему великому счастью зачислен в команду, которая немедленно отправляется на фронт.

22 IX 44 г. в 6.00 Я еду на фронт с той же воинской площадки, откуда когда-то уехал мой брат....»

Наверное, что-то из этого рассказал я тогда В.Г. Коновалову и Л.П. Овчинникову за новогодним обедом.

Больная, красивая, но беспомощная девушка сидит перед нашими глазами. Мы говорим о ней, когда возвращаемся из деревни в лес. Возвращаемся по старому следу, я думаю: «Такая сейчас вся Польша: красивая, бледнолицая от долгого голодания и каторги, с парализованными ногами, немая, укутанная в лохмотья; судорожно и настойчиво жаждущая сказать своё первое слово о своём пробуждении, о жажде силы и свободы...»

В роту прибыл первый офицер. Кто-то издали указал ему на меня: он уже знал, что командир 9-й роты это я. Мы разговариваем с Коноваловым. Подходит строго по уставу, на размешанном снегу пытается перейти на строевой шаг.

– Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться к младшему лейтенанту Ильиничу.  
– Обращайтесь...

– Товарищ младший лейтенант, разрешите представиться: младший лейтенант Полтавец прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы на должности командира стрелкового взвода.

Смотрю в мальчишеское смугловатое лицо младшего лейтенанта, думаю о себе: я так же строго по уставу представляюсь своему начальству.

Лейтенант Полтавец – украинец; небольшого роста, не воевал, окончил военно-пехотное училище и назначение в 9-ю роту – его первое. Он в новеньком офицерском обмундировании, кажется, что весь отутюжен и сияет.

Прибыли и другие командиры взводов – младшие лейтенанты Ветров и Клишин. Они окончили одно военно-пехотное училище, одинаково одеты, одного возраста, но совершенно отличны по характеру. Терентий Иванович Ветров высокий, плотный, красивого сложения, смотрит прямо, серьёзно; спокоен и деловит, при исполнении приказов быстр и серьёзен. Иван Прохорович Клишин с круглым, мягким лицом, рыжеватыми волосами и веснушчатым лицом; волосы, веснушки и цвет лица как-то особенно сочетаются, и создаётся впечатление, что и лицо у него рыжеватого оттенка, словно подсвечено рыжеватой шапкой волос. Он очень прост и добр, мягок и спокоен по характеру, широк в кости, наверное, физически силён.

До офицерского училища Ветров и Клишин служили солдатами, солдатами прошли хорошую школу действительной службы в армии и одинаковы каким-то глубоким, капитальным знанием армейской ротной службы. Они оба много старше меня, но, сразу же признали

---

<sup>5</sup> 39 Омская запасная стрелковая дивизия

<sup>6</sup> Черемушки – в годы войны военный лагерь недалеко от Омска, где стояла 39 О.З.С.Д.

во мне командира роты, и я чувствую, что теоретически знаю больше; они поняли это, и безупречно дисциплинированы. Мне нравятся эти командиры взводов. У нас хорошие отношения.

В роту прибыли первые солдаты. Они выстроены в две шеренги на лесной полянке. Это моя рота, с этими солдатами мне предстоит служить, а им предстоит сражаться под моим началом. Я медленно иду вдоль строя, пытаюсь заглянуть в глаза каждому, каждого понять – на что он способен, что знает, что сумеет в бою. Идёт мокрый снег, дует низкий пронизывающий ветер. Небритые подбородки, помятые лица, синие от холодного ветра; люди разных возрастов: совсем молодые, мальчишки, а рядом – пожилые, как мне кажется, даже старики. Некоторых я спрашиваю, откуда они родом, давно ли служат в армии, были ли раньше на фронте. Ловлю себя на том, что кому-то подражаю.

Есть солдаты русские, но в основном всё же молдаване, из той, западной части Молдавии, которая воссоединена с Молдавией Советской. Некоторые из них плохо говорят по-русски – крестьяне, угловатые, но крепкие. Бедняки, батраки. Они родились и росли, жили в капиталистической Румынии. По своему жизненному опыту они знают, что такое батрак, безземельный, безлошадный крестьянин в капиталистическом государстве. Для них идут первые годы советской власти – годы комбедов, первых переделов земли, первых кооперативов и коммун. О советской власти, её народовластии, преимуществах у них твёрдые, крестьянские, деловые суждения. В будущем я постоянно поражаюсь простоте и разумности их мужицких суждений, иногда корыстных, но определённых и бескомпромиссных.

Теперь же, в самом начале, вид солдат мне не нравится. Я ещё живу требованиями, теоретическими тезисами курсов «Выстрел». Нам твердили: «Автомат – оружие ближнего боя. Автоматчики мелкими группами, пешком или на броне танков просачиваются на стыках в оборону противника, в его тылы, дерзкими и организованными действиями седлают дороги, захватывают мосты и переправы, делают засады в дефиле и на путях отхода противника, своими решительными, дерзкими налётами сеют страх и панику в армии врага...». Хотя я назначен командиром стрелковой роты, в Новосибирске, на курсах «Выстрел», я окончил группу командиров рот автоматчиков. И душа моя мечтала и грезила подобрать в роту молодых, бесстрашных и дерзких солдат, не ведающих усталости и страха, вооружить их автоматами и на стыках вражеских подразделений пробираться с ними в тылы противника, чтобы сеять там страх и панику. И сейчас я рад, что моё первое впечатление о солдатах было ошибочным: ни один из них не оказался трусом; большинство погибли или были тяжело ранены в бою, порой тяжёлом и неравном.

В первую свою встречу с солдатами я стараюсь быть строгим и требовательным, чтобы с первой минуты пребывания в роте солдаты поняли, что настал самый ответственный период в их жизни – участие в боях. Я убеждён, любое послабление, нетребовательность породят дисциплинированность, небрежное отношение к боевому оружию, к изучению тактики, а за этим следует неумение воевать и бессмысленная гибель в первом же бою. Моя речь перед солдатами коротка. Но я готовился к этому моменту, когда буду выступать перед «своей» фронтовой ротой, все годы офицерской службы. Помню, что тогда, не замечая пурги, я говорил примерно так:

– Товарищи солдаты, сержанты, офицеры! С этого дня все мы – 9-я рота 598 стрелкового полка 207-й Краснознамённой дивизии. Мы стоим в 50-ти километрах от Варшавы, меньше чем в пятистах километрах от Берлина. Нам предстоит вести самые тяжёлые бои: за Германию, за Берлин, на своей территории гитлеровская армия будет обороняться с фанатическим упорством.

Жить и победить или бесславно погибнуть в первом бою зависит от каждого из нас и от всех нас, взятых вместе. Вы учились военному делу в запасных батальонах, но сейчас у нас ещё есть немного времени для учёбы. Кто и как научится воевать – зависит от его стара-

ния и дисциплинированности. Научиться воевать – значит победить врага и остаться жить. Не научиться – значит погибнуть в первом же бою бесславно и бессмысленно, дать врагу ещё на один час, день продлить войну.

Мы должны научиться воевать и победить, победить малой кровью! Только победить!

Каждая фраза мне кажется мыслью, моим открытием, и я произношу её чётко и отдельно одну от другой. Мне особенно нравится, и я произношу железно-чётко: «Ты, солдат, сам решаешь: или ты научишься драться, победить, останешься жить и вернешься домой, или поленешься, будешь нерадивым, не научишься мастерски воевать, стрелять, бросать гранату, ползать, и тогда немецкий солдат будет грамотнее тебя и победит. Он убьёт тебя, а не ты его. Он вернется домой, а тебя похоронят...». Солдаты в гробовом молчании слушали меня, но мне всё время казалось, что мысли мои, слова непонятны им, они не трогают их.

Командиром нашего 3-го батальона назначен капитан Сабир Ахунович Ахмеджанов, родом из Средней Азии. Его заместители: по строевой части – капитан Дмитрий Алексеевич Стуков, по политической части – младший лейтенант Василий Клементьевич Хохлов, старший адъютант, или, как мы обычно зовём, начальник штаба батальона – старший лейтенант Василий Александрович Макаров. Парторгом батальона стал младший лейтенант Байли Клычмамедов, а комсоргом младший лейтенант Соломон Аркадьевич Агранат.

Представив меня роте, капитан вывел меня в лес и, ткнув рукавицей в сугроб между соснами, распорядился:

– Место для ротной землянки. Завтра к ночи вырыть и разместить личный состав на отдых. А сегодня ночуйте на лапнике. Костры не разводите: вражеская авиация ведёт разведку.

Не взглянув на меня, комбат ушёл. Вопрос о том, чем и как строить землянку, никого не смущает. Рядом, в пяти метрах седьмая рота гвардии старшего лейтенанта Коновалова, сформированная на день раньше, уже сооружает себе жилище. Коновалов негромко, как-то по-будничному отдаёт офицерам и сержантам своей роты распоряжения; со стороны кажется, что он ни во что не вмешивается и не делает никаких усилий, но офицеры роты, сержанты и солдаты быстро, споро делают дело, всё живёт и копошится вокруг него. Я немного завидую Коновалову, его умению без всякой внешней командирской позы и лишних приказов организовать роту.

Сейчас предстоит строить землянку девятой роте. В голове зреет план, распоряжение. Как помнится сейчас, все происходит примерно так:

– Младший лейтенант Клишин.

– Слушаю.

– Со своим взводом приступайте рыть котлован. – Мы отмеряем с ним по снегу ширину и длину. – Выполняйте!

Рыжеватые брови Клишина приподнимаются. Он молчит, на широком, в рыжих веснушках лице недоумение. Он не двинулся с места. Мне понятно его недоумение: чем рыть котлован, когда стоит январь, и земля промёрзла. Клишин ждёт. У меня неожиданно возникает предложение:

– Идите в сапёрную роту полка, попросите там ломы, кирки, лопату, взрывчатку. – Я говорю это уверенно, категорически. Моё предложение кажется Клишину реальным. Он отвечает:

– Есть! – И уходит выполнять.

– Младший лейтенант Ветров.

– Слушаю.

– Вашему взводу, пока роется котлован землянки, приготовить перекрытие: матку, жерди для перекрытия, лапник.

– Есть!

Я доволен, думаю: «Он видел, как заготавливают жерди солдаты седьмой роты, уже все продумал и решил».

Мне самому представляется совершенно невозможным добыть в лесу печь, трубу к ней и двери, чтобы закрывать вход в землянку. Прежде чем отдать кому-либо приказ добыть все это, думаю, как можно это сделать. Хотя в деревни, к крестьянам обращаться с какими-либо просьбами категорически запрещается, другого выхода я не нахожу. Старшина роты старший сержант Л.А. Борзых кажется мне по характеру пронырливым, хитрым, настойчивым и я вызвал его.

– Возьмите двух-трех солдат по своему выбору, идите, куда хотите, ищите, где хотите, но чтобы завтра, когда землянка будет готова, были двери и печь. Если не настоящая печь, то хотя бы железная бочка из-под горючего.

Борзых не нравится задание. Он вяло берет под козырёк и негромко отвечает:

– Есть.

Возвращается Клишин. Ни лома, ни кирки, ни лопат из сапёрной роты он не добыл: кажется, в сапёрной роте побоялись, что мы их испортим. Но солдаты притащили откуда-то кусок водопроводной трубы длиной метра два. Один конец трубы сплюснен и немного загнут: видимо с помощью этого орудия была вырыта уже не одна землянка.

Несколько солдат, сменяя друг друга, долбят узкую ямку-шурф в центре будущей землянки. Я наблюдаю за их работой и даже пытаюсь долбить сам. Замёрзшая земля кажется камнем и поддается тяжело. Но к вечеру ямка диаметром сантиметров пятнадцать и глубиной около метра готова. Спускается ранняя январская ночь. Взрывать решаем завтра, при свете дня. Солдаты разгребают ногами снег, настилают на очищенную землю лапник елей, приготовленный для землянки, на лапник стелют плащ-палатки и ложатся спать, плотно прижимаясь друг к другу. Сверху укрываются плащ-палатками, просят дежурных часовых забросать их сверху снегом, особенно – ноги, портянки отсырели за день, ноги мёрзнут. Офицерам отведено место в середине. Ночью пошёл снег и навалил на плащ-палатку толстым слоем. Уснули все на одном боку и переворачиваемся на другой – одновременно. Никогда я не спал так крепко и так сладко как там, в занесённом польском бору. Утром вылезать на снег и ветер жутко не хочется. О существовании бессонницы и простуды никто даже не подозревает.

На другой день работа по строительству землянки продолжается более активно и организованно. В шурф закладываем несколько гранат, укрываемся за деревьями. Взрыв звучит глуше и гораздо меньше, чем мы ожидали. Но дно воронки, размером с несколько ладоней – незамерзший песок. Солдаты, сменяя друг друга, саперными лопатками быстро расширяют яму в незамерзшем песке, и глыбами отрубают и отваливают верхний смёрзшийся слой. Работа идет быстро. Скоро обнаруживаются контуры будущей землянки длиной метров двадцать. Пока копаем землянку, взвод младшего лейтенанта Ветрова в соседнем лесу рубит сапёрными лопатами жерди. К вечеру, как приказал командир батальона, землянка готова.

Я хорошо помню то первое фронтное жильё, сооружённое нами с помощью одного лишь обломка трубы, сапёрных лопаток и нескольких гранат. Двери старшина не достал, вход в землянку завешивается плащ-палаткой. От входа – глубокая, метра полтора, канава; справа и слева от неё – лежанки из лапника: постели. Для каждого солдата вышло по пятьдесят сантиметров – тесно, но тепло. В центре землянки поставили печь. Чугунную, настоящую печь достать тоже не получилось. Отыскали обыкновенную железную бочку, вырубили дыру для трубы и дверцу: печка готова. Всю ночь возле печки сидит дежурный. В землянке тепло. Постели офицеров в «красном углу». Так начинается фронтная жизнь молодых необстрелянных солдат 9-й роты.

Роты быстро пополнялись. Когда батальон выстроился на занятия, нас собралось уже целое войско. Радостно было видеть, как крепнет батальон, крепнет полк.

Наконец, 9-я рота была укомплектована до полного штата – 98 солдат, сержантов и офицеров. В роте 3 взвода, в каждом взводе по четыре отделения. В роте, по штатам военного

времени, «ячейка управления» – 8 человек: командир роты, старшина, ротный писарь, наблюдатель, три связных – по числу взводов – и ординарец командира роты.

В каждом взводе по 30 человек: четыре отделения по 7 человек (командир отделения, первый номер ручного пулемета, второй номер ручного пулемёта, 4 рядовых солдата), командир взвода и его помощник (помкомвзвод).

Младший лейтенант Терентий Ветров – командир первого взвода, а его помощник – младший сержант Николай Русонов. Командир первого отделения, отделения разведки, – младший сержант Пётр Зверев. Младший лейтенант Полтавец – командир второго взвода, младший лейтенант Клишин – третьего.

Начались занятия. Подъём и завтрак затемно, до рассвета. Занятия от рассвета до темноты с перерывом на обед. Ужин затемно. Начали с самого важного и трудного – подготовка одиночного бойца. Узнаю людей по фамилиям, именам, месту рождения. Начинают проявляться армейская подготовка, природная сноровка и выносливость; подмечаю характеры, привязанности, взаимоотношения, старание. Люди перестают для меня быть одинаковыми. Работать трудно. С офицерами, с самими солдатами-молдаванами беседует заместитель командира полка по политчасти майор И.И. Якушев. В роте часто проводит политзанятия заместитель командира батальона по политчасти младший лейтенант Василий Клементьевич Хохлов.

Незаметно, исподволь я изучаю своих офицеров, сержантов и солдат: до начала боев я должен точно знать, кто из них на что способен, кому какое задание можно дать, кто из них не подведет, кто может струсить? Кто к какому подвигу готов?

Младший лейтенант Т.И. Ветров – сибиряк. Родился 4 апреля 1913 г. в селе Сычевка Смоленского района Алтайского края. Солдаты уважают его, беспрекословно выполняют его команды; со взводом у него хорошие отношения: он спит, ест и живёт вместе с ними круглые сутки, но нет ни панибратства, ни отчуждённости. Ветров мне нравится. Я не хвалю его в глаза, но ставлю на первое место. Все признают за ним первенство. Когда меня отзывают из роты на офицерские учения в штаб полка, за командира всегда остаётся он. Мы вместе с ним ходили в десятки атак, много раз лазили в тыл к немцам в разведку, и он всегда, во всех сложнейших фронтовых условиях был спокоен, не терял самообладания, выдержки, чувства руководства своим взводом.

Фронтовая судьба Ветрова была удивительно счастливой. Он участвовал в боях с января 1945 года до конца войны, прошёл всю Польшу, Померанию, командовал взводом 16 апреля, во время прорыва самой мощной обороны противника на реке Одер. Он провёл свой взвод через весь Берлин, штурмовал Имперский театр, Кроль-оперу («Новый Рейхстаг») и закончил войну в парке Тиргартен – самом центре Берлина, в 300 метрах от Рейхстага и в 800 метрах от Имперской канцелярии, где отравился Гитлер. Все офицеры – его товарищи – или погибли, или были ранены. Ветров оставался неуязвим, словно покрыт бронёй. За мужество, за умелое командование взводом Т.И. Ветров был награжден орденом Отечественной войны. В мирное время мы служили с ним в одном полку.

Младший лейтенант И.П. Клишин. Сибиряк. Спокоен. Серьёзен. К службе относится добросовестно. По отношению ко взводу, одежде, в обращениях – гражданский человек. Мягкий к солдатам; добрая улыбка не сходит с его полного, в рыжих веснушках, лица; удивляется и радуется хорошему откровенно, открыто.

Ветров и Клишин окончили одно военно-пехотное училище. Они друзья, и вне службы обращаются друг к другу по имени. Мне нравятся эти офицеры. Живёт в них что-то не военное, домашнее, семейное.

Младший лейтенант Полтавец, командир второго взвода, кажется мне непонятным. Смуглый и скрытный, он говорит с сильным украинским акцентом. К службе относится добросовестно, даже с подчёркиванием своей дисциплинированности. Он моложе меня. Никакого опыта в командовании взводом, в обращении с людьми старше его, у него нет. Мне кажется,

что в училище, где он учился, была плохая дисциплина и плохо поставлено обучение: учить взвод ему трудно. Мы оба понимаем это. Ему я стараюсь помочь больше, чем другим командирам взводов.

Первое отделение первого взвода по положению – отделение разведки. Не торопимся, постепенно отбираем с Ветровым в разведку самых толковых, находчивых и физически сильных солдат. Кого назначить командиром отделения? По предложению Ветрова, назначаю толкового, дисциплинированного солдата Петра Зверева. Мне он тоже нравится. Петр Никифорович Зверев, рядовой, родился в 1925 году в Удмуртской АССР, в г. Глазове. Вскоре ему присваивается звание младший сержант. Комсомольца Зверева единогласно избирают комсоргом роты.

Петр Зверев не сильного сложения, не богатырского роста; белокур, с худощавым, даже болезненно бледным лицом и доброй мальчишеской улыбкой. Он окончил полковую школу. У него были хорошие учителя-офицеры. Они дали ему прочные знания оружия, тактики отделения. Он рассудителен, сообразителен, толков. Решаем – быть комсоргу роты и командиром отделения разведки роты.

Солдат И.В. Сорока – белорус. Высокий добродушный богатырь – красавец, с лицом смугловатым, по девичьи круглым. У него серые добрые глаза. Он первый номер ротного ручного пулемёта системы Дегтярева. Когда он стоит, поставив пулемёт перед собой, положив огромные крестьянские руки на раструб, тяжёлый пулемёт кажется лёгким посошком, с которым он обращается играючи. Солдат Сорока – пулемётчик отделения разведки.

Помкомвзводом у Ветрова младший сержант Николай Русанов. Исполнительный, грамотный. С лицом совсем мальчишеским, круглым и добрым. Ему нужно было родиться девушкой.

Высокий худощавый солдат с санитарной сумкой. Через плечо у санитаря большая, как надутая воздухом, зелёная сумка с красным крестом на клапане. Мы возвращаемся с занятий. Идёт густой и сырой, тяжёлый снег. Шапки и шинели облеплены снегом. Просёлок – два санных полоза. Идти строем по четыре в ряд нельзя. Идём по двое, растянувшись «гуськом». Санитар оказался рядом со мной. Все устали. Я смотрю сбоку на его лицо с тонким большим носом. Он, видимо, устал больше других. Ему, наверное, сорок, возможно – больше, мне он кажется стариком; он тяжело дышит, пот и струи от таящего на лице снега стекают по щекам.

– Устали? – спрашиваю я.

– Устал, товарищ младший лейтенант.

– Как здоровье?

– Да так, здоров, только случается со мной... – Он говорит какая у него болезнь и что с ним случается, но называет это по-латыни. Я не понимаю, что с ним случается, но переспросить не решаюсь.

– Почему вас санитаром назначили?

– Курсы я кончал... Ещё в Румынии, в своей деревне, и за врача, и за фельдшера, и за акушерку был – и дома, и в округе.

Он с каким-то женским, заботливым характером и благородством. Всегда побрит, опрятен. Вижу, как он делает перевязку: у него длинные чуткие пальцы. Солдаты признают за ним право врачевать.

Солдат Барба – прямая противоположность пулемётчика: молчаливый, словно вечно сердитый. Среднего роста, плечист, угловат, крепок. Черноволосый, с лицом смуглым, скуластым и не улыбочивым, даже мрачным. Лоб низко надвинут над спрятанными глазами и мне кажется, что он постоянно хмурится или зол. Слова у Барбы не вытянешь: он молчун. Но учится упорно и вынослив на учениях.

Вечерами к Барбе приходит солдат из другого подразделения. Как я выяснил, это – его родной брат из взвода ПТР нашего же батальона. Они уединяются, я вижу их вдвоём: сидят рядом, сутулятся, пряча глаза, молчат. Братья очень похожи друг на друга.

Солдат Григорий Степанович Боталов прибыл в нашу роту в первых числах января 1945 г. Гриша родился в 1926 году в Пермской области, Чермозском районе, пос. Пожва. Я хорошо запомнил его с первых дней службы в роте. Гриша был небольшого, ниже среднего, роста, с широким, скуластеньким, болезненно бледным лицом, но крепко сложен. У него были серые выразительные глаза и русые, почти белесые волосы и брови. Гриша Боталов не разговорчив, даже молчун. В роте у него нет друзей. На занятиях упорен, настойчив, терпелив. Запомнился случай: шли занятия по теме «Особенности атаки стрелковой роты укрепленного района и сильно укрепленной позиции противника». Занятие исключительно тяжёлое. Несколько часов стремительной атаки с преодолением оврагов, по заснеженным лесам и полям при полной боевой выкладке. Слежу за солдатами: лицо у Боталова мокрое, от спины валит парок, но ни одного слова об усталости.

Стрелковые роты 3-го батальона развернулись в боевой порядок, скрытно, по лесу выдвинулись на опушку, залегли. «Максимы» пулемётной роты – в цепи стрелков и автоматчиков. Минометчики чистят снег в овраге для своих позиций. Командир батальона капитан Ахмеджанов вызвал командиров рот для уточнения задачи, развернул на коленях карту местности.

– Батальон выдвинулся на исходный рубеж, – начал свой приказ капитан. – Наблюдатели установили наблюдение за местностью, за действиями противника, офицеры ведут рекогносцировку, уточняют взаимодействие с артиллерией, минометными и пулеметными подразделениями, ставят задачу командирам взводов.

Мне нравится, как командир батальона ведёт занятия: последовательно, на каждом этапе подробно разбирая действия каждого подразделения.

Верхом на сером красивом жеребце, в сопровождении адъютанта, из глубины леса неожиданно показался командир полка подполковник кавалерии Андже Циренович Санджиев. О нем рассказывают, что до назначения в полк он служил в каком-то крупном штабе инспектором кавалерии. Высокий калмык с крупным смуглым лицом, с живыми чёрными глазами, энергичный, вездесущий, неутомимый. На танцующем жеребце, в хорошо сшитой длинной кавалерийской шинели, весь в порыве, он производит на нас сильное впечатление. Подполковник не подъезжает, он налетает на нас, неизвестно каким образом разыскав в глубине леса, кричит с высоты коня, с лицом горящим страстью сражаться и победить:

– Что вы спрятались в лесу? Чего солдат морозите? Я из первого батальона. Там не ученье – бой горячий: роты с криком ура беспрестанно атакуют один рубеж за другим, миномётчики меняют позиции, подноски на плечах несут глыбы снега – ящики с патронами. Командир батальона, командуйте. Батальон, в бой!

Жеребец пляшет под ним. Нам не нравится вмешательство командира полка, нарушающее план и темп наших занятий. Я смотрю на капитана Ахмеджанова, жду, как он поступит: мне хочется, чтобы он объяснил командиру полка тему занятия и настоял на своём. Но он, вытянувшись, демонстрируя перед нами своё полное согласие с приказом, отвечает:

– Слушаюсь! – и, повернувшись к нам, громко, хотя мы стоим совсем рядом, отдаёт приказ: – Батальон, в атаку вперёд!

Мы бежим в роты, на опушку. За опушкой простирается девственно белое снежное поле. Оно сверкает от солнца. Вдали, справа – чёрные якубовские избы. Поднимаем роты. С криком «ура» батальон обрушивается «на головы противника». «Противник» не оказывает нам никакого сопротивления, но, пробежав по снегу где-то полкилометра, мокрые и усталые солдаты всё же замедляют бег. Подполковник гарцует в цепи батальона, он появляется то на правом, то на левом флангах и, когда цепь замедляет движение, подбодряет солдат и с криком «ура» сам скачет впереди цепи.

Когда в тылу, будучи командиром взвода, я учил солдат, зачастую требования к обучению казались мне противоречивыми, не давали покоя. Я был неопытен, приказ «учить солдат применительно к условиям боя» теоретически мне был понятен. Но когда, по требованию старших офицеров, основная часть полевых учений состояла из бесконечной тренировки красиво развёртываться в боевой порядок и, соблюдая ровную цепь, равные интервалы между солдатами, с криком «ура», до хрипоты, до изнеможения атаковать голую степь, я был уверен, что условиям боя такие «парады» прямо противоречит, и это мне казалось безусловно неверным. Тогда, в запасном полку, я, размышляя, приходил к выводу: старшие офицеры тоже не были на фронте и только теоретически, как я, понимают свою задачу. А парадные боевые цепи и атаки заменяют собой наше недостающее умение научить солдат действовать в подлинном бою. Я пытался успокаивать себя: наши солдаты не сразу пойдут в бой; там, на фронте, офицеры-фронтовики серьёзно дополняют военные знания солдат, научат их действовать в настоящем бою.

Все это я вспомнил именно сейчас. Там глубокий тыл, здесь противник стоит в Варшаве, всего в пятидесяти километрах. Там я готовил солдат для «кого-то», кто мог их ещё доучить, исходя из своего фронтового опыта, сейчас же я учу «свою» роту. Если я не научу сейчас солдат воевать, понимать и выполнять мои приказы, их никто уже не научит. Никто! Кому нужен этот парад? Эти красивые цепи, громовые «ура»? Неужели командир полка этого не понимает?.. Подполковник кружит на своём красивом жеребце, и, как только солдаты замедляют бег и прекращают кричать «ура», снова упрекает их в недостатке умения, в недостатке мужества, приказывает снова кричать и бросаться, сам кричит и рвётся вперёд. Обливаясь потом, утопая в глубоком снегу, мы бежим и падаем в снег, снова поднимаемся и бежим, бежим...

Нам, командирам рот, не известны стратегические планы фронта, армии, мы не знаем даже ближайших, конкретных задач, стоящих перед нашей дивизией, перед полком, перед батальоном. Но то, что в самые ближайшие дни предстоит огромная, сложная и трудная операция, чувствуется во всем, особенно по расписанию занятий, которое даёт штаб батальона: три дня – обучение одиночного бойца, три – отделение в наступлении, три – взвод в наступлении, взвод в танковом десанте, рота, батальон и полк в наступлении. В требованиях к учёбе чувствуется продуманность, разумная последовательность, но и спешка.

Два года, как я закончил 2-е Омское военно-пехотное училище. Все годы во мне накапливалась жажда учить солдат, с которыми самому придётся воевать. Я всегда увлекался учёбой взвода, учил не просто добросовестно, а с увлечением, не считаясь ни с каким временем; мой взвод перед отправкой на фронт, на зачётных учениях, особенно по стрельбе, всегда получал высокие оценки. Сейчас же мне больше всего хочется учить «свою» роту, «для себя»: я тщательно обдумываю, как провести каждое занятие. Я дал себе клятву: научу роту понимать задачи, методы боя так, как понимаю их сам, чтобы каждый солдат и сержант был подготовлен и при любых обстоятельствах, даже оставшись один, не терялся, не отступал, а продолжал выполнять задание. Я требователен до придирчивости, до недоверия к знаниям командиров отделений, даже командиров взводов, но это не смущает меня. Вижу, что к вечеру все утомлены, утомлён сам, но после ужина снова собираю командиров отделений и взводов, увожу их из тёплой землянки в заснеженный лес, чтобы никто не видел, и там подробно разбираю, чему и как учить солдат завтра.

Тема занятий – наступление полка за артиллерийским валом. Накануне командир полка и начальник штаба майор П.П. Волгин собрали командиров батальонов и рот, разобрали план боя, предупредили о серьёзности учений. Я впервые присутствую на совещании офицеров полка. Многие офицеры с нашивками за ранения, с орденами.

Тёплый январский день. Батальоны выдвигаются на исходные позиции для наступления; командир батальона вызвал командиров рот для последнего уточнения задачи. Я замечаю, что капитан Ахмеджанов встревожен: на учениях в батальоне присутствуют майор и подполковник из штаба дивизии. Волнуются и его заместители Стуков и Хохлов. Овчинников взволнован и

привычно нетерпелив, Коновалов, напротив, спокоен и невозмутим. Я стараюсь не пропустить ни одного слова: мне хочется, чтобы моя рота не подвела батальон.

Наступление. Всё идёт точно по плану. Я ревностно слежу за взводами, за соседними ротами; моя рота выполняет приказы быстро; командиры взводов и отделений проявляют инициативу, солдаты стремительны, оружие держат в готовности к бою, приказы выполняют точно и умело.

Рота ведёт наступление на левом фланге полка. За моей спиной, с повязкой на рукаве, идёт майор – посредник. Он слышит приказы, которые я передаю через связных командирам взводов. Боевые порядки стрелковых батальонов развернулись на поле. Цепь идёт красиво, ровно, стремительно. Впереди нас лес, по опушке протянулась первая полоса обороны «противника», к лесу краем поля тянется широкий, заросший кустарником лог. При любом другом случае я бы повёл роту по этому логу, но сейчас уклониться влево – разорвать красивую цепь наступающего батальона.

Майор догоняет меня, даёт вводную:

– В полосе наступления роты выдвинутые вперёд пулемётные позиции противника. Рота несёт большие потери. Командир роты, ваше решение...

Вводная посредника рассеивает мои сомнения:

– Связной Демьянов, передайте в штаб батальона о пулемётных гнёздах врага. Рота обходит позиции противника слева.

Ракетой указываю миномётчикам пулемётные позиции врага. Солдат Демьянов – небольшого роста, живой, неутомимый (за это я взял его связным в ячейку управления), бросается выполнять приказ. Двух других связных я посылаю к командирам взводов с приказом: по логу, по опушке леса обойти пулемётные гнезда слева. Наблюдатель даёт зелёную ракету в сторону леса. Это условный сигнал изменить направление наступления. Рота быстро выполняет приказ: цепь батальона разрывается раньше, чем командир батальона получил моё донесение. Но майор-посредник кивает головой, одобряя принятые решения и манёвр роты. В меня вливается уверенность. По позициям «противника» начался настоящий артиллерийский огонь. Снаряды и мины пролетают через головы наступающей пехоты и рвутся на опушке, поднимая снег и землю. Впечатляющее зрелище, ощущение настоящего боя. Стремительная атака, гранатный бой, крики «ура», и рота врывается «в окопы противника».

Солдат, бегущий немного впереди и справа от меня, вдруг захромал, схватился за левое бедро и остановился.

– Что..?

– Осколок – Поднял ладонь: на галифе крохотная дырочка, чуть запачканная кровью.

Кричу санитару:

– Сделать перевязку, отправить в тыл. – В азарте боя я отнёсся к ранению солдата как к неизбежному в настоящем бою.

Наступление за огневым валом продолжалось. Вечером, когда «противник» был выбит и из второй и из третьей траншей, состоялся разбор учений. Действия 3-го батальона одобрены. В конце разбора, подполковнику, присутствующему на учениях, видимо, из штаба дивизии (ни до этого, ни потом я никогда его не встречал) доложили, что во время учений произошло ЧП: в девятой роте осколком гранаты ранен солдат.

– Кто командир роты?

Я стою недалеко, слышу доклад и его вопрос. Подхожу, докладываю обстоятельства происшедшего. Подполковник, маленький, черноволосый с чёрными круглыми глазами, слушает невнимательно, даже небрежно: мои объяснения, видимо, кажутся ему не объективными, а мой вид – слишком молодым и неопытным.

– Командир батальона, освободить командира роты от занимаемой должности. – Он колет меня чёрными маленькими глазками и отворачивается.

– Слушаюсь, – капитан Ахмеджанов берет под козырёк.

Полк возвращается с учений. Я удручён: приказ об освобождении меня от командования ротой кажется мне чудовищно несправедливым. Ещё надеюсь, что командир батальона забудет о случившемся или не захочет выполнить приказ «чужого» подполковника, встанет на мою защиту.

Приказ был выполнен. Вечером командир батальона приказывает мне выстроить роту и сообщает, что командиром 9-й роты назначается старший лейтенант Д.Я. Старцев.

Освобождённый от командования, я растерялся, безвольно и без цели бреду по лесу – расположению полка, пытаюсь осознать свою вину и соразмерять её с наказанием.

«Я кандидат в члены партии коммунистов. Я столько приложил сил, чтобы попасть на фронт, добился. Почему другим доверяют воевать в полную силу, а мне – нет? Почему? Неужели я действительно настолько неопытный, малограмотный офицер? Я окончил училище и курсы. «Выстрел» окончил на отлично и был рекомендован для работы в военном учебном заведении или на командование подразделением разведки. Неужели мои знания ничего не значат? Мне уже двадцать лет...»

Сознание того, что теперь, когда я так близок к цели, меня снова заставят делать что-либо другое, не доверят воевать на том месте, где я хочу, больше всего угнетает меня. Понимаю, что мною владеют чувства и мешают мне рассудком проанализировать случившееся, свою вину и степень наказания, и свои желания на будущее. Завязав свои нервы и чувства в узел, прихожу к твёрдому убеждению: со мной поступили несправедливо, моё освобождение от командования ротой необоснованно. Придя к такому выводу, я решаюсь идти к командиру полка. У командира полка просторная землянка, с высоким бревенчатым потолком. Вытянувшись, строго по уставу, стараясь быть предельно объективным и точным, докладываю обо всем случившемся.

Он стоит передо мной, высокий, грозный. В углу, за моим правым плечом, коптилка, сделанная из гильзы снаряда. Широкое красное пламя ярко освещает половину смуглого лица подполковника, смоляную бровь и волосы. Мой доклад живо отражается на его энергичном, подвижном лице.

– Как? Кто имел право без приказа командира полка снять тебя с должности? Адъютант, командира батальона ко мне!

Адъютант, молчаливо стоявший в глубине землянки, бросается за командиром батальона. Мне жалко смотреть на растерянное, вспотевшее лицо комбата. Беспомощно пытается он объяснить командиру полка свой приказ, косо посматривая на меня. Комполка не слушает его объяснений, возбуждён и резок:

– Немедленно, сейчас же выстроить роту и сообщить ей, что командир роты был освобождён ошибочно. Немедленно восстановить его в должности! Идите!

Мы возвращаемся с комбатом в расположение батальона. Глухая ночь. Запинаемся о корни и кочки, молчим. Он вызывает в свою землянку старшего лейтенанта Д.Я. Старцева и передаёт ему приказ командира полка. Старшего лейтенанта Старцева я раньше встречал на общепатальонных занятиях офицерского состава и общепатальонных учениях. Он командовал взводом противотанковых ружей батальона. Лично мы знакомы не были. Сообщение комбата ему неприятно, он сильно взволнован, как мне кажется, побледнел и щека его, освещённая фитилём, судорожно подёргивается. Он недобро смотрит на меня:

– Ну что же, если младшему лейтенанту так хочется командовать ротой, то я, старший лейтенант, буду командовать взводом.

Он нравится мне интеллигентностью, выдержкой. Я ни в чем не виню его, как не виню и командира батальона, молчу: справедливость на моей стороне, и никому и ничего я не хочу уступать. В этот же вечер командир батальона выстроил 9-ю роту и сухо, без объяснений, объявил о моем назначении командиром роты.

Между соснами, на снегу, установлен стол военного трибунала. Солдаты с оружием стоят и сидят вокруг. Судят дезертира. Он трусливо убежал с поля боя несколько месяцев назад, когда ещё 3-я Ударная армия, а в её составе 207 дивизия и наш 598 стрелковый полк вели бои за освобождение Прибалтики. Вид у дезертира жалкий, даже мерзкий: старая, грязная шинель без ремня, хлястика и без погон; замызганная шапка без звёздочки и завязок, лицо грязное, помятое, подбородок давно не брит. Объятый страхом, он весь трясётся, еле отвечает на вопросы, не поднимая головы, не смея взглянуть в глаза трибуналу и толпящимся вокруг солдатам и офицерам. Рассказывает, что, дезертировав из полка, жил в лесу, вблизи своей деревни. Там был арестован милицией и препровождён обратно в полк.

Подсудимому лет тридцать пять, не больше. В деревне, куда он бежал, у него живут родные. Он плачет и просит пощады. Всем понятно, что перед трибуналом предатель, трусливый и ничтожный человек. Наблюдаю за лицами солдат: на них отражается то жалость к плачущему чьему-то сыну, отцу детей, то ненависть к дезертиру, предавшему товарищей. Председатель трибунала просит присутствующих высказать своё мнение. С корня сосны поднимается ладный, подтянутый солдат; я заметил его раньше: солдаты, прошедшие войну, чем-то неуловимо, но сильно отличаются от тех, кто в неё только вступает. Этот из тех, кто воевал в Прибалтике. Он участвовал в том бою, в котором струсил и сбежал подсудимый. Я забыл дословно выступление солдата, помню только, что говорил он тихо, редко ставя слова и фразы, словно тяжело ронял их в снег, под ноги дезертира. Ему видимо очень тяжело было обвинять своего бывшего однополчанина, которого он знал тогда, осознавая, что приговаривает его к смерти. Но он говорил всю правду, говорил так, как думал. После него выступает какой-то старшина, тоже фронтовик, потом ещё несколько солдат и сержантов. Смысл их выступлений один:

«Фашисты напали на нашу Родину, разграбили её, сожгли, уничтожили, убили миллионы женщин, стариков, детей. Кто должен освободить нашу землю? Мы сами! Никто другой этого не сделает! Тот, кто не хочет её освобождать – согласен с оккупацией, поддерживает фашистов. Мы воевали, освобождая свою Родину от фашистской сволочи, а он, этот предатель, не хотел её освобождать, хотел, чтобы рабство продолжалось. Мы столько ребят потеряли... Каких ребят... А ты, сволочь, сбежал, струсил, предал, жить захотел... Да разве это жизнь?! В лесу? Одному? Нельзя больше доверять ему оружие: мы ему не верим, он может ещё раз предать нас врагу. Расстрелять предателя!»

Трибунал выносит приговор:

«...Именем народа Союза Советских Социалистических республик... за измену Родине... расстрел!»

Полк в полном составе, с артиллерией и тылами, выстроен в две линии – одна против другой. Батальоны и роты – повзводно.

Полк выстраивается или в самый торжественный, или в самый трагический момент. Дезертирство из полка – его пятно, его позор. И вот он весь собран и построен, чтобы снять этот позор, очиститься от пятна. Дезертир будет расстрелян перед строем, перед лицом тех, кого он предал.

Он, пугливо озираясь, в сопровождении охраны плетётся между линиями строя, его ноги заплетаются. Лицо его уже мёртвое, белое, руки подняты на грудь, придерживают распадающиеся без пуговиц и крючков полы шинели, ботинки без шнурков хлябают: он уже не солдат, не человек. Сзади выстроилось отделение автоматчиков. Над лесом, над строем нескольких тысяч людей повисает гнетущая тишина.

Председатель трибунала зачитывает короткий, как телеграмма, категорический приговор.

Кто-то из старших командиров, поднимая руку, громко, разрубая тишину, отдаёт приказ: «По изменнику Родины, огонь!»

Дезертир съёжился, как он удара сверху, закрутил головой. Грохнул залп. Голова его как-то странно дёрнулась вверх, тело обмякло, он мягко присел, потом плашмя упал лицом в грязный снег.

Все знают, предателю – смерть! Но присутствовать при расстреле человека тяжело. Это оставляет отпечаток в памяти на всю жизнь. Как поступить иначе? Иначе – нельзя!

Возвращаемся в расположение полка. Коновалов идёт рядом со мной. Молчим.

– Моему отделению приказали его расстрелять. Я выбрал отделение сержанта ..., фронтовика. Выстроил, передал приказ штаба полка. Солдаты говорят: «Дезертира? Дезертиров надо расстреливать...»

Приказ: ещё раз проверить состояние оружия, заменить неисправное, получить полный боевой комплект. Старшина роты Николай Орлов выдаёт патроны. Командиры взводов проверяют оружие, хотя почти все карабины, автоматы и ручные пулемёты в роте новые, с завода. Я наблюдаю, как солдаты получают гранаты и патроны: тщательно, даже придирчиво осматривают и терпеливо, молча считают их. Старшина усматривает в этом недоверие к нему, злится. А мне нравится рачительное, «хозяйское», крестьянское отношение и к оружию, и к боеприпасам.

Закончился обед. Солдаты снегом моют котелки. Призывно и тревожно гудит, зовёт – играет труба. Сигнал тревоги нельзя спутать ни с каким другим сигналом даже солдату, впервые его услышавшему. «Тревога! Тревога!» – кричат, передавая по лесу от землянки к землянке. Дежурный по полку офицер громко, ни к кому не обращаясь, кричит: «Приготовиться к маршу. Полная боевая готовность. Землянки не разрушать». Заместитель командира батальона по строевой части капитан Д.А. Стуков выстраивает батальон в походную колонну. «Сколько нас в одном батальоне, а сколько в полку...». Коновалов успевает сказать мне: «С дверей землянок не велели снимать плащ-палатки: учебная тревога, проверка готовности. Ночевать вернёмся сюда...».

Полк быстро начинает вытягиваться из леса, на марше выстраиваясь в походную колонну. Какая организованная, обученная, вооружённая сила! Короткий марш. К ночи мы действительно возвращаемся в своё постоянное расположение, в свои землянки.

14 января с Магнушевского и Пулавского плацдармов войска 1-го Белорусского фронта перешли в наступление. Стратегической целью этой грандиозной операции, в которой принимали участие и 1-й Украинский, и 2-й Белорусский фронта был разгром немецко-фашистской группы «а», полное освобождение от рабства народов Польши, выход на подступы к Берлину.

Немецкие войска на Западе, под Арденнами перешли в наступление, прорвали фронт англо-американских войск. Черчилль и Рузвельт попросили И.В. Сталина ускорить наступление на Висле. Верные своему долгу, наши войска перешли в наступление в середине января. Тогда мы, конечно, не знали этого.

Замполит командира батальона гвардии младший лейтенант В.Г. Хохлов, парторг Б. Клычмамедов и комсорг С.А. Агранат собрали на политическую беседу весь батальон. Это делается впервые, чувствуется, что будет сделано какое-то очень важное сообщение. Все ждут с интересом. В.Г. Хохлов тоже взволнован:

– Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! Вчера войска 1-го Белорусского фронта перешли в новое наступление, прорвали мощную оборону противника на Висле и успешно продвигаются на Запад.

Кто-то из солдат спросил про Варшаву.

– Варшава пока не освобождена...

*Под Варшавой*

Запись в моем фронтовом блокноте:

*«18.1-45. Готовы к маршу... Сегодня выступаем по Варшавскому шоссе...»*

Выступаем вечером, идём быстрым маршем всю ночь. Варшавским широким асфальтированным шоссе идёт наш третий батальон, наш полк, наша дивизия. Чувствуется, что всё пришло в движение, всё устремилось на Запад. Прошли Миньск-Мазовецки, идём к Варшаве. На шоссе напряжённое движение: то наша колонна обходит молчаливо стоящие на обочине чёрные безжизненные танки и самоходки; то слева конные, то быстрые и юркие «виллисы», то длинные колонны машин обгоняют нас, и тогда от роты к роте передают: «принять вправо!»

Командир нашего 598 стрелкового полка подполковник Лидже Циренович Санджиевт – энергичный, вездесущий. Он то верхом, то в лёгком тарантасе появляется перед батальоном. Он недоволен, рассержен растянутостью взводов и рот, громко делает замечания, сам отдаёт приказы: «Подтянись! Бегом – марш!»

Варшавское шоссе мне запомнилось только ночью. Сырое, покрытое грязью, справа и слева – зубчатый лес на сером ночном небе. Выхожу из строя, чтобы проверить, все ли в порядке, пропускаю роту мимо себя. Солдаты, чтобы полы шинелей не путались в коленях и легче было идти, подогнули их под ремень. Под утро все устали, идут неровными рядами, молча и тяжело. Вдруг кто-нибудь начнёт замедлять шаг, уходить в сторону. Задремал. Его трогает за локоть сосед:

– Не спи, запнёшься. Потерпи, скоро привал.

По колонне как по лестнице – со ступени на ступеньку – на все голоса передают: «Привал! Привал!» Отдаю команду: «Рота, стой! На-пра-во! Разойдись!» Идут в лес, бросаются в кювет, ложатся на мокрый грязный снег, вытянув ноги вверх, на противоположный скат: так ноги лучше отдыхают. В темноте коротко вспыхивают, передаются из рук в руки зажжённые спички, покачиваются красные огоньки самокруток; из канавы катится тяжёлый храп.

Мне врезались в память эти первые походные ночи и серый медленный рассвет под Варшавой. Вершины сосен шарят по серому небу, царапают его колючими сучьями. Солдаты роты нестройно поют грустную, тягучую песню. Не пойму, слышу я песню или это мои чувства, моё настроение. Мне отчего-то грустно, думаю о матери, братьях, сестрёнке. Отец был секретарём райкома партии. Мы родились с Фридрихом в один день. Отца разбудили ночью и сказали: «Матвей, у тебя родилось два сына». Он ответил: «Два коммуниста будут». И дал одному имя Фридрих (в честь Фридриха Энгельса), другому – Ким (Коммунистический Интернационал молодежи). Когда, через три года, родилась дочь, он назвал её Клара (Клара Цеткин), потом родилось ещё два брата. Отец сказал правду: все братья стали коммунистами.

Где они сейчас? Что делают в этот час? О чем думают? Мама, конечно, у себя в деревне. Сейчас в Сибири день: она в школе. В школе и Клара, и Лёня. Лев ещё мал – командует дома один. Как они там живут? Не пишут. Неужели и они голодают... Маме дают учительский паек, хотя и маленький... Мой аттестат, аттестат Фридриха. Где он? Давно не пишет. Мать тревожится за нас...

Я вспоминаю, как провожал брата на фронт. Нас призвали в армию. Обоих, в один день, ведь мы были одногодками. В военно-пехотном училище мы учились в одном отделении: я был первым номером пулемётного расчёта, Фридрих – вторым. Училище окончено. Мы офицеры.

Перед строем выпускников, обмундированных во все новое, в офицерских погонах, начальник штаба училища зачитывает приказ: Фридрих направляется на фронт, я – командиром взвода в 119 Омский запасный стрелковый полк, учить солдат. Нас впервые хотят разлучить: мы удручены, мы с этим не согласны. Начальник училища запомнился мне седым, немного грузным и строгим полковником. Мы вместе входим в кабинет, встаём рядом, перед его столом, и точно, строго в соответствии с уставом, я коротко излагаю нашу просьбу: мы родные братья, никогда не разлучались, и сейчас просим направить нас на фронт вместе. Полковник молчит, выслушав нас, спрашивает:

– У вас есть мать, отец, братья, сестры?

Вопрос полковника возвращает нас в детство; он царапает моё самолюбие – уже взрослого человека, офицера. Мы отвечаем:

– Да, есть!

То, что седой полковник сказал нам, мы запомнили на всю жизнь. Мы ждали что он, облечённый для решения нашей судьбы самой большой властью, выслушав, улыбнётся, одобрит наше решение (ведь мы просимся на фронт! не куда-нибудь...) или, соскочив с места, закричит, возмущённый и красный: «а кто солдат будет учить для фронта? Я тоже хочу на фронт. Где прикажут, там и служите! Идите и исполняйте приказ!», и прогонит нас из кабинета. Ничего этого не было. Начальник училища медленно поднялся, неторопливо прошёлся по кабинету мимо нас, обдумывая что-то, давая нам немного «осмелеть» в его присутствии, и начал рассуждать, словно советуясь с нами: «...Война – не шутка, война жестока и беспощадна... А если вы погибнете оба?.. Я желаю вам обоим жить и жить, драться и победить... Но... Как перенесёт, как тогда жить будет мать, сестрёнка, братья?.. Если не оба, то хотя бы один должен вернуться домой...»

Я не понимаю, о чем говорит нам полковник, о чем он заботится, продолжаю настаивать на моей отправке на фронт, хотя полковник не возражает. Но Фридрих беспокойно топчется на месте, смотрит на меня добрыми серыми материнскими глазами.

– Вы идите и подумайте обо всем, что я вам сказал, если решите ехать вместе, завтра приходите... – совсем тихо говорит начальник училища.

Мы идём по Омску, молчим. Когда молчать становится невозможно, Фридрих говорит:

– Полковник прав...

Часто вспоминая последние дни, проведённые с братом, я думаю: Фридрих считался матерью и всеми в нашей семье старше меня. Он уезжал тогда на фронт: на его стороне была какая-то правда, сила, он имел какое-то право решать и мою судьбу, и он так решил.

Каждый из нас написал на память брат – брату. В моем крохотном карманном блокноте Фридрих записал своей рукой:

«На память брату Киму – от брата Фридриха.

Да, мир наш велик и широк,

И в мире так много дорог!

Но каждый из нас выбирает

Только одну из дорог!

Прощай мой брат, прощай родная сторона. Пишите все и все,

хотите – всё будет мило для меня.

Да, пришло время, когда расстаться настала пора. Прожили мы дружно с тобой 18 лет, и теперь расстаёмся, быть может, навсегда. Помни своего брата Фридриха, вспоминай, как вместе с тобой мы жили вдвоём.

Твой брат И. Фридрих. 1 IV -43 г.

г. Омск. 2 ОВПУ».

На другой день к начальнику училища мы не пошли, и к разговору об этом больше не возвращались.

Мы стоим на воинской площадке, вдоль площадки – эшелон красных товарных вагонов; на площадке молчаливые седые деда, плачущие матери, бабушки. Мы стоим втроем: я, Фридрих и Николай Кабанов. С Николаем мы вместе учились в школе, вместе работали на пристани, в один день были призваны в Армию, и вот они с Фридрихом вместе уезжают на фронт. Нас никто не провожает: около нас никто не плачет, от этого нам легко, свободно и даже весело. Мы недобро шутим: «Давайте побьём кого-нибудь, пусть по нам тоже поплачут».

Эшелон трогается, Фридриха в дверях нет. Он где-то за спинами других. Я зову его. Кто-то в вагоне обращается к товарищам: «Дайте с братом попрощаться». Фридрих пробивается

через плотную стену офицеров, стоящих у доски – перил широких дверей. Над плечами других мне видно его круглое, веснушчатое, немного красное от возбуждения лицо, тёмно-рыжий коротко стриженный чуб... Вагон катится и катится мимо, скоро скрывается...

С того дня я не видел брата. Я не сдержал нашего молчаливого договора тогда, после посещения начальника училища. Проводив брата, я только несколько месяцев спокойно учил солдат, а потом стал снова надоедать всем старшим начальникам, требуя отправки на фронт. Мои мечты и желания сбылись только осенью 1944 года. Я на фронте.

«Сколько моих родных сейчас на фронте? Все, кто молод и здоров: отец, Фридрих, двоюродный брат Родион, сестра Александра, дядя Гриша, Саша, Сережа, Ганя, Петя. А из друзей? Все! А где Бэла? Бэла – Машенька из пьесы Афиногенова «Машенька». Она, конечно, вернулась в Томск, учится в девятом. Думает ли она обо мне, помнит ли театр Вахтангова, спектакли которого познакомили нас, театр, который мы так полюбили с ней, но на спектаклях даже стеснялись вместе сидеть?»

Обо всем этом думал я, вспоминал и перебирал в памяти, лёжа на плащ-палатке в лесу под Варшавой, наблюдая, как чёрные угловатые сучья высоких сосен все шарят и шарят по серому небу, тянут к нему свои ветки и, кажется, тяжело и с грустью о чем-то шепчут, жалуются друг другу. Я очнулся от воспоминаний и подумал: «Запомню эту ночь на всю жизнь».

Так и запомнилась она мне до сегодняшнего дня: лохматые ветви сосен что-то ищут в глубине неба; тусклые звезды на сером небе; слабый, чуть трепещущий, то гаснущий, то снова вспыхивающий костерок, запах дыма; тягучая, негромкая солдатская песня.

«Воздух! Гаси костры!» – передают по лесу, громко повторяя друг другу в разных концах леса.

Со стороны Варшавы в наши тылы летят вражеские самолёты.

Кто-то у моего изголовья завозился; звякнул котелок; меня позвал ординарец:

– Поешьте, товарищ младший лейтенант, я кашу принёс. Пока горячая...

*«К началу января между Вислой и Одером на пространстве глубиной более 500 километров было построено семь рубежей обороны. Первый, Вислинский рубеж, расположенный вдоль левого берега Вислы, подготавливался в течение длительного времени. Он состоял из трёх-четырёх полос общей глубиной 90-120 километров с крупными узлами обороны в районах Сохачева, Радома, Кельце, Хмельника, Буско-Заруя».*

*История Великой Отечественной войны*

*Советского Союза. Том 5, стр. 54.*

Колонна полка пересекает Варшавское шоссе с севера на юг. Шоссе ведёт в Прагу, пригород Варшавы, расположенный на правом берегу реки Вислы. Низкая, видимо заболоченная долина, мелкий, редкий, изуродованный снарядами лес.

«Варшава освобождена, Варшава освобождена», – повторяются в моей голове слова замполита. Дорога плохая, с глубокими выбоинами, солдаты идут вольно, негромко переговариваются.

С приближением к Варшаве во мне просыпается обида:

«...освобождена. Почему же до нашего подхода? Почему мы во втором эшелоне? Разве у нас плохо подготовлены солдаты, наш полк, дивизия?»

Висла – широкая, ровная, покрытая белым снегом даль – Висла подо льдом. Вдоль берега – мёртвая, ржавая железная дорога. Насыпь изрыта траншеями, пулемётными и миномётными гнёздами, воронками взрывов. «Кто-то хорошо придумал. За высокой насыпью: ходи, ездят – не видно». Насыпь пересекает ход сообщения. Он норой проходит под рельсами и заканчивается удобной, хорошо сделанной и замаскированной ячейкой: «Пулемётное гнездо. Сектор наблюдения и обстрела по льду реки». Мне нравится, как выбрано место для передней траншеи, как она по-хозяйски хорошо и надёжно сделана, обшита: «Я бы занял оборону точно так же».

«Идти не в ногу, рассредоточиться». Колонна вступает на лёд Вислы. Перед нами, по левому берегу – Варшава. Далеко. Берег застроен низкими строениями, крыши заснежены; ни людей, ни машин, ни дыма из труб.

Левый берег. А где же дома? Где улицы, где люди? Развалины, развалины – сожжённые, разрушенные, заброшенные, заснеженные, мёртвые...

Колонна останавливается на пустыре. Из-под снега торчат камни одинокие камни. На площадь когда-то выходила неширокая, старая городская улица. Домов нет, они разрушены, из-под снега торчат красные и серые обломки кирпича, остатки разрушенных стен. Между развалинами неторопливо, обшаривая развалины беспокойным взглядом, идёт старик. Голова его закутана в какие-то лохмотья. Он что-то настойчиво ищет взглядом, останавливается, ищет, делает несколько шагов, останавливается, ищет взглядом снова. Мы следим за ним с шоссе.

Остановился, бросил санки, нагруженные каким-то скарбом, сделал несколько шагов по развалинам, упал на снег, разгребает снег руками. К нему подошли наши солдаты. Старик что-то разгрёб из под снега, прижался; сутулая спина его трясётся в рыдании. Услышав шаги и голос русских солдат, поляк поднялся, оглянулся и громко зарыдал.

Мы остановились, не смея к нему приблизиться и расспросить его. Немного успокоившись, не поднимаясь из снега, на ломаном русском языке, он сказал:

– Немцы расстреляли мою семью... здесь они лежат. Жена и дети... – И он зарыдал ещё громче. А когда он поднялся, мы увидели, что из снега торчит женская рука в разноцветной кофточке. Возможно, по этой кофточке он и нашёл тело своей жены. Когда-то он бежал из Варшавы от смерти и вот пришёл, пришёл и кто-то помог ему найти трупы. Чуть дальше женщины разгребали снег, видимо, тоже разыскивая родных. Мы ушли дальше, но часто вспоминали плачущего мужчину. Его седые лохматые волосы и лохмотья вместо одежды.

В одном селе, где мы остановились на отдых, ко мне побежал взволнованный мужчина, что-то стал объяснять, показывая на моих подчинённых, но я никак не мог понять, что же натворили мои солдаты. Наблюдатель ячейки управления, пожилой солдат, видя, что я не понимаю хозяина, стал переводить мне.

– Гуси у него там, в сарае, под соломой спрятаны. Гусак и две гусыни. Солдаты брали солтому и наткнулись на них случайно. Поняли – спрятаны. Он рядом был, перепугался.

Я подозреваю мародёрство:

– Солдаты хотели забить гусей?

– Да нет, только полюбопытствовались: дико нам, что от нас прячут...

Но моя злость, видимо, по-своему понята хозяином: он принял это на свой счёт, поспешно вышел, вернулся с гусем, предлагает его мне, показывая на солдат.

Все переводят это так:

«Он просит не забивать тех гусей: на развод они оставлены. Просит взять этого, забитого».

Это выглядит откупом, побором победителя с бессильного крестьянина. Я действительно рассержен, но понимаю, что крестьянин не знает русского языка, что он поступает так, как поступал пять лет при немецких оккупантах: метод ему казался испытанным, безотказным. А сейчас он не понимает, что хотят от него эти странные русские.

– А там, на печи, в углу, девчонка молодая сидит, дочь видно, за рогожей спрятана. Перепуганы они, – говорит мне пулеметчик Сорока. – Я ему объяснял, и старухе, чтобы вышла. Бойтся, говорят, сама спряталась.

– А ты понимаешь по ихнему?

– Мало же... Но слова у нас одинаковые есть.

Я спрашиваю хозяина о дочери. Он пугается ещё больше. Лицо у него пошло пятнами, губы трясутся. В углу, на печи, что-то зашевелилось, и мы слышим девичьи всхлипывания.

Кто-то из солдат хочет заглянуть на печь, хозяин замер, не смеет даже остановить любопытного, но я нарочито зло, тоном приказа останавливаю солдата.

– Я только посмотреть, неужели, в самом деле, от нас прячется?..

Я испытываю чувство крайней неловкости, объясняя хозяину и хозяйке понятия, которые для советских людей давно являются естественными, над существованием которых я даже раньше никогда не задумывался и никому никогда их не объяснял. В разговор включается весь взвод, объясняя полякам, обмениваясь между собой. Смысл этого разговора запомнился мне.

Немцы грабили их, запугивали, что русские придут, будут ещё жесточе, все заберут, сожгут. Тёмные они, неграмотные, забитые. На дворе солому брали – ни лошади, ни коровы, ни овцы, ни поросёнка. Всё богатство – солома и гуси.

Упрёков и насмешек над перепуганным хозяином нет. Мы с Ветровым уже улеглись спать на соломе в красном углу. Наши постели довольно удобны в сравнении с солдатскими – мы согласились, чтобы хозяин покрыл солому рядом.

Мы становимся свидетелями беседы солдат-молдаван с хозяевами. Беседа ведётся на трёх языках: молдавском, русском и польском. Мне кажется, что поляк слушает солдат-молдаван с большим доверием, чем меня, сразу увидев в них таких же как и он нищих крестьян, совсем недавно освобождённых из под гитлеровской оккупации. Мне кажется, что само присутствие молдаван – больше крестьян, чем солдат, успокаивающе действует на поляка.

Крестьянин, кажется, успокоился. Солдаты размещаются спать, возятся, шуршат соломой, переговариваются между собой:

– Пять лет ведь под немцами жили, не один день.

– Те не признавали законов. Вишь, рассказывает, он отдал корову, застрелили хозяина.

– Я вроде понял, сына его.

– А может и сына. Корова, говорит, стельная была. Ждали и телёночка, и молочка.

Забили, телёнка на дорогу выбросили.

– Семян, говорит, у него совсем нет.

– Какие там семена...

– Геббельс, слышал, говорил им, с востока идут москали, вечные поработители поляков, «большевицкие грабители»; при немцах ещё рай, ад будет при русских.

– Сволочи...

Я толкаю в бок Ветрова, слушай, мол, политбеседу. Он отзывается, что не спит, слушает. Думаю: «Пять лет Гитлер, а до Гитлера двадцать лет Пилсудский, Рыдз-Смиглы пугали их большевиками. Нужно быть очень грамотным, чтобы не верить этому. Он забитый, неграмотный крестьянин. Он всему верит...»

Хозяин не ложится спать, сидит в кути. Сквозь сон я слышал, что он ночью несколько раз выходит на улицу, видимо, проверить, целы ли его гуси.

Движемся колонной. У дороги мечется заяц. Солдаты кричат, улюлюкают. Заяц останавливается, приседает, крутит ушастой головой, выбирая, где можно проскочить через колонну, но колонна перегораживает ему всю дорогу. Он подпрыгнув, пускается вдоль колонны, не подзревая и не боясь, что в колонне тысячи винтовок, автоматов, пулемёты, пушки. Солдаты снова кричат; заяц останавливается, бросается назад, потом снова вперёд.

А солдаты, забыв обо всех невзгодах, обо всем на свете, кричат со всех сторон:

– Сюда! Туда! Туда!

– Куда ты под пулемёты?..

– Вот стерва... Куян, куян!

– Дурак, в котёл попадёшь...

И гогочут так, словно их кто-то очень сильно веселит. Офицеры не делают солдатам никаких замечаний, сами оживились и хохочут.

Запись в блокноте:

*«26. I. 45. Седьмой день на марше. Ночуем в школе г. Трлонг, на берегу громадного озера...  
27. I. 45. Ночуем в дер. Дамбровка, у немца... Движемся на северо-запад...»*

Память не сохранила ни вида города Трлонг, ни деревни Дамбровка. Где эта деревня Дамбровка? Какая там сейчас течет жизнь?

*«5. II. 45. Заняли оборону от Бромберга 158 кл. в 3-м эшелоне. Копаем окопы.»*

Оттепель. Снег тает. Просёлочная дорога разбита колёсами машин, тракторов, повозок и пушек, покрыта толстым слоем грязи, ямы залиты жидкой грязью.

Колонна батальона тянется через какое-то большое, разбросанное по склонам село. Дорогой идти невозможно. Разрушая строй, солдаты тянутся «гуськом» по обочинам. У самой дороги, наблюдая за движением, стоит женщина. Я мельком взглянул на неё: в новенькой, аккуратной, специально сшитой по росту и фигуре шинели из зелёного английского сукна, шапка по-модному – набочок. Она первой узнает меня, и, забыв имя, окликает по званию. Шура, та Шура, которая приходила в нашу офицерскую землянку в лесу у деревни Якубово.

Мы стоим друг против друга, пока мимо проходит моя рота. Она – сияющая всем новым; картинно гримасничает, осматривая мои сапоги, до верха голенищ в дорожной грязи, мятую шинель, служащую мне постелью, давно небритый подбородок.

Говорить нам не о чем, радоваться встрече нет причин. Шура торопится сообщить мне о своём счастье:

– А я замуж вышла за майора, он... – она называет большую тыловую должность. – А живу я вон в том доме, – тянет руку через колонну солдат, где на пригорке величественно возвышается большой дом, принадлежащий, судя по всему, польскому помещику.

Шура сияет от счастья, беспричинно и громко смеётся, спрашивает сочувственно:

– А ты Ванька взводный что ли?

В вопросе слилось и сожаление и превосходство. Во мне вспыхивает пренебрежение: даже не хочется отвечать. Я тороплюсь, отворачиваясь, отвечаю, не скрывая гордости:

– Я командир роты. Это моя рота.

– Какие грязные...

В первые же минуты я забываю об этой встрече, но вскоре чувствую: мне отчего-то неприятно, и через час осадок оскорбленного самолюбия не даёт мне покоя.

Батальон останавливается на большой привал, «принять горячую пищу». Разыскиваю Коновалова, и, чтобы освободиться от неприятного осадка, рассказываю о нашей встрече. Он вспомнил Шуру:

– А. «Пэпэже»... Ну, Ким, что делать – война всех выворачивает наизнанку, Смелого и настоящего человека сразу же видят смелым и настоящим, труса – трусом.

И рассуждает о женщине на фронте. По его трёхлетним наблюдениям, все женщины на фронте делятся на три совершенно обособленные группы, каждая группа отличается от другой решительно всем, даже одеждой.

Первая группа – «святые». Это те, которые никому недоступны и поэтому свободны и горды. Их все уважают, даже любят, оберегают от пуль и от грязных притязаний. Таких много – большинство. Вторая группа – те, которые давно «вышли замуж», они хорошо одеты, скромны, тихо живут за широкой спиной большого начальства, а главное – интендантов. И третья – «пэпэже» – походно-полевые жены. Таких совсем мало, единицы, но, к сожалению, есть – плесень войны.

И рассказывает мне о медицинских сёстрах, которые в разные годы войны были у него в роте.

– После ранения под Невелем вылечился, и направили меня в десятую гвардейскую, на 2-й Прибалтийский. Дали стрелковую роту. До этого я был командиром роты противотанковых ружей. Была у нас в роте медсестра Рая. Родом из Ленинграда. «Святая». Офицеры батальона

на неё посматривали. Совсем девчонка, ко мне относилась как к отцу. Ни один раненый в роте не истёк кровью, не обморозился: зима стояла, декабрь сорок третьего. Погибла...

Рассказывает Василий неторопливо, прерывисто, голос перехватывает ему. Таким я его ещё ни разу не видел.

– Немцы убили её. Оборона тянулась по опушке. В лесу снег глубокий. А мы наступали. Немец остановил нас. Землянки не роём, планируем завтра-послезавтра наступать. Ночь. Ложимся спать. Ординарец разрыл снег, натаскал веток, покрыл плащ-палаткой. Ложимся вместе, Раю – в середину, чтоб теплее ей было. Спим под плащ-палаткой, сверху – снег для тепла. Слышу под утро, ординарец выбирается, вскоре будит меня: «Товарищ старший лейтенант, горячей воды я принес, вставайте, умойтесь горяченькой, пока не остыла». Горячая вода на передовой, в декабре – дело неоценимое. Встаю я, встаю осторожно, чтобы не разбудить Раю, думаю рано, ночь ещё, пусть поспит. Умылся, ординарец говорит: «А у меня ещё есть вода, для Раи». «Ну, тогда разбуди...». Потрогал он её один раз, второй, говорит мне: «Не встаёт она». «Уснула крепко, разбуди». Подхожу, поднимаем край плащ-палатки, а у неё лицо жёлтое, с синевой. Мёртвая. Убита. Ночью немцы из пулемётов лес обстреливали, неприцельно, со страха. А спали мы головой к опушке. Пуля в голову, и нигде даже не вышла. Так и запомнил на всю жизнь: лежит она на плащ-палатке, скрюченная, чтобы теплее было, с жёлтым лицом, в синих диагональных галифе. Мои брюки были. Мёрзла она, предложил ей свои брюки. Так в них и похоронили. Всей ротой хоронили...

Впереди – шум боя: рвутся снаряды, длинно стучат пулемёты. Солдаты настораживаются, прислушиваются.

Командиров рот с марша вызывает командир батальона. Офицеры штаба стоят кучкой у обочины дороги. У капитана Ахмеджанова в руках развёрнутая карта. Он диктует, не ожидая, когда офицеры соберутся:

– Приказ. Занять оборону, быстро окопаться: возможна контратака противника крупными силами с танками. Выполняйте.

Мы разбегаемся в роты. На правой стороне – небольшая, вытянутая вдоль шоссе, польская деревня. Занимаем оборону: справа – 7-я рота, в центре – 8-я, на левом фланге – 9-я. Поле, замёрзшее, припорошённое снегом, круто спускается. Командир батальона принял решение: первая траншея должна проходить по склону поля. Идём с ним окраиной села. Ночь. Плохо просматривается широкая, если судить по карте, летом, наверное, сырая, полузаболоченная долина, а сейчас – сплошная даль с чахлым кустарником.

На левом фланге 9-й роты – одинокий дом – отруб польского кулака. В доме никого нет. Хозяин, видимо, сбежал с немцами. В нем я решаю сделать свой штаб, на чердаке, откуда широкий обзор и обстрел, устанавливается пулемёт и организуется наблюдательный пункт.

Земля глубоко промёрзла, походной солдатской лопате поддаётся тяжело. Вырубается и откалывается топором каждый комочек земли.

Морозно и ветрено. Чтобы лучше выбрать места для пулемётных гнёзд, неохотно ложусь в снег, обсуждаю с пулемётчиками, вместе определяем позиции, сектор обстрела каждому стрелку, каждому пулемётчику. Левый фланг роты открыт: перед флангом – тёмный лес. Решаю: для прикрытия фланга всего батальона третий взвод выдвинуть на небольшое возвышение вперёд и левее.

Младшие лейтенанты И.П. Клишин и Т.И. Ветров о чём-то спорят. Клишин представляет оборону другой. Я объясняю цель и причины. Он удивлён и не скрывает этого, говорит Ветрову, чтобы я не слышал, но я слышу: «Командир роты у нас молодой, а военное дело знает: смотри, как оборону строит...»

Из деревни на оборону 7-й роты идут поляки. В основном, молодые женщины. С некоторой завистью думаю: «Коновалов опередил всех: как же я не догадался мобилизовать на рытье окопов местное население. – Успокаиваюсь: – Овчинников, седой и лысый, тоже не догадался».

Ночью мороз и ветер усиливаются. Работа на траншее не прекращается. Солдаты и офицеры попеременно ходят в тёплый дом греться. Молодые полячки, видимо работницы, приветливы и гостеприимны. Мы не спим, ходи всю ночь, не спят и они. В печи один чугунок картофеля сменяется другим, пол застлан соломой. Два часа на обогрев и сон. Поев горячей картошки, солдаты валяются на солому. По дому перекачивается храп, висит густой и терпкий запах сохнувших на печи ботинок и портянок.

На другой день Ветров рассказывает мне и шутя, и серьёзно.

– Солдаты наши полячек с ума посводили. Вдовы они все, рассказывают, мужики погибли в тридцать девятом, земли своей у них нет, хозяйства – тоже, вот и живут в работницах. Наши солдаты тоже не отворачивались... молодость...

Оборона ещё не закончена. Приказ: 9-й роте срочно сняться с обороны и прибыть в распоряжение штаба полка майора П.П. Волгина. Капитан не объясняет причин. Я не спрашиваю: не положено.

Сумерки. Марш-бросок. Дорогой с Ветровым обсуждаем, стараемся угадать для чего роту сняли с обороны, направляют в тыл.

Штаб и тылы полка разместились в небольшом селе, в центре которого широко раскинулась среди подворья богатая усадьба помещика. Усадьба утопает в садах. В помещичьем доме штаб полка. Дежурный штаба передаёт, что майор Волгин приказал по прибытии командиру роты явиться к нему на квартиру.

Просторная комната. Прямо у стены – стол, на нем большая красивая лампа. Слева – широкая и высокая деревянная кровать. На кровати, на белых простынях – жена Волгина. Мы немного знакомы, она отвечает на моё приветствие. Майор в нижнем белье – внакидку – открывает мне дверь, приглашает к столу, на котором разложена карта; я достаю из сумки свою, точно такую же, карту.

Начальник штаба ставит задачу роте: рота должна ночью провести разведку, прочесать лес на фланге полка, по которому возможно проникновение противника в тылы полка.

Я слушаю рассеянно: мне крайне неудобно, я смущён, что посреди ночи попал в чужую спальную, тем, что при получении приказов рядом, в постели лежит женщина, а майор стоит передо мною в нижнем белье.

А когда я понимаю, что остаток морозной ветреной ночи рота будет бороздить глухой овражистый лес, каждую секунду ожидая засады и смерти, а эти двое останутся здесь, в этой жарко натопленной комнате, в постели с чистыми простынями, во мне невольно поднимается желание высказать им что-то обидное и оскорбительное.

Сдержавшись, я повторяю приказ, сворачиваю карту и ухожу, не оглядываясь.

О нескольких последующих днях в блокноте сделана запись:

*«8. П. 45. ...Идём на передовую.*

*9. П. 45. Заняли исходное положение. Противник занимает спиртозавод. Наша задача – выбить пр-ка. Весь день обстреливает из миномётов. Ранено 2-е. Я спокоен, когда идёт канонада, но всё-таки этот первый обстрел я перенёс на удивление просто, без волнения. Полтавец ранен в ногу.*

*10. П. 45. Приказ отменен. Снялись. Уходим.*

*11. П. 45. Проходим г. Вандсберг. Второй раз. Первый раз проходили утром 5. П. 45. Маленький, красивый городишко».*

Память сохранила многие подробности этих суток войны. День и вечер утратились. Отчётливо помню только ночь. Непроглядную, чёрную ночь. Снегу нет. «Зима, а снегу нет». Нам это непривычно, мы удивляемся и говорим об этом. Батальон идёт в походной колонне.

Кругом лес, совершенно безлюдно, пустые деревни, брошенные, мёртвые: ни единого огонька, ни одного голоса, ни лая, ни петушиного крика... Идти через такие деревни даже в колонне батальона жутко.

Снова лес. Я устал, устали и солдаты. Молчат, не разговаривают, не шутят даже на привалах. Где мы идём? Куда? Что впереди, что вокруг? Всё это перестаёт меня интересовать. Есть штаб батальона, полка, разведка, боевое охранение. Они всё знают и за всем следят.

Впереди восьмая рота. Начинается рассвет. Силуэты солдатских шапок, стволы карабинов, автоматов, ручных пулемётов мерно покачиваются передо мной на фоне серого неба.

Село. Батальон останавливается. По рядам передают: «Командиры рот к командиру батальона». Тороплюсь в голову колонны. Офицеры штаба батальона и командиры рот уже собрались. Молчаливой толпой они стоят вокруг капитана Ахметжанова. Докладываю о прибытии.

– Младший лейтенант Ильинич, покажите на карте, где сейчас находится батальон.

Такие вопросы и в такой форме нам задавали офицеры-преподаватели в военном училище и на курсах во время военных учений. Я так и воспринял его, подумал: «Комбат решил учить подчинённых бдительности... Коновалова и Овчинникова он уж, конечно, спросил, вызвал по одному и спросил». Но сам по себе вопрос не показался мне ни сложным, ни неожиданным.

Комбат держит в руках развёрнутую карту. Кто-то из офицеров освещает её карманным фонариком. У командиров рот я тоже замечаю развёрнутые карты. По своей карте за дорогой я не следил. Но надо отвечать. Осмотрел силуэты домов, строения, отыскивая характерный ориентир: так, как нас учили в военном училище.

Впереди и слева торчит на фоне серого неба высокий и острый шпиль деревенской кирхи. Мы стоим у высокой каменной стены. Это не жилой дом. Ещё совсем темно, но я догадываюсь, что мы стоим у стенки какого-то местного предприятия. Внимательно всматриваюсь в карту, быстро вспоминаю виденное, что мельком замечено ночью – немецкое название деревень, кирхи, развилки дорог, – всё быстро восстанавливается в памяти:

– Батальон находится на южной окраине села ..., вот в центре кирха. Мы стоим у мельницы – отвечаю я, подстраиваясь под учительский тон вопроса.

Офицеры, каждый на своей карте, проверяют правильность моего ответа. Я слышу в их голосе какое-то облегчение, но не догадываюсь о причинах.

– Правильно! Итак, товарищи командиры рот, перед батальоном поставлена задача...

Командир батальона объясняет, что впереди нас никаких воинских подразделений нет. О противнике точных данных тоже нет.

## Глава вторая. Вот она, проклятая Германия!

*«В последних числах января войска 3-й ударной, совершив трудный 450-километровый марш, вышли на территорию Германии северо-западнее Бромберга. Здесь мы начали занимать оборону на выгодных рубежах, чтобы не допустить возможных ударов противника в южном направлении... 79-й корпус перешел к обороне фронтом на север в районе Фандсбурга и Флотовы».*

*Г.Г. Семенов. Наступает ударная.  
М., 1970. Стр. 196–197\*.*

Высокая насыпь асфальтированного шоссе. Над насыпью – сложенная из кирпича арка. На арке, немного сбоку и криво на чёрной доске, белыми неровными буквами написано: «Вот она, проклятая Германия!»

Солдаты входят под арку молча, как мне кажется, тяжело, устало ступая. Кто-то говорит: «Это разведчики. Они первые всегда проходят».

Запись во фронтовом блокноте:

*«12. П.45. Перешагнул германскую границу. «Вот она, проклятая Германия!» – встретил нас лозунг. Польша пешком, в дождь, в снег, по грязи... с боями, с обороной, пройдена. Я в Германии».*

Этот момент запомнился. Чувства и мысли беспорядочно путались и громоздились, сознание подсказывало об историчности момента, но сильная утомлённость, метельная непогода, тяжесть многолетних ожиданий этого дня словно притупляли чувство радости; арка появилась на нашей дороге, кажется, неожиданно. Чувства и мысли этих минут много позже я изложил в стихах. Не думайте о них как о произведении искусства, думайте как о юношеской попытке выразить своё состояние:

*Ворота в ад.  
Как пасть разевают голодные звери,  
Ждавшие жадно добычи своей,  
Как пропасть, как ада крошечного двери —  
Ворота из красных кирпичных камней.  
Ворота в пещерные дебри дракона,  
К матке пиратов, убийц, палачей,  
Двери к подножью кровавого трона,  
Стоявшего властью на грудах костей.  
Данте, воскресни, вернись из гроба.  
Адские муки ты смог описать,  
Но муки невинных ада земного  
Мог ты не видеть, не слышать, не знать.  
Есть ли казни жесточе, чем Кассий казнен?!  
Варварам мира, мучителям – есть! —  
Это суровый солдатский закон,  
Это народа жестокая месть!  
Она их настигла: вот эти двери.  
В них мы вошли, чтоб вернуться назад  
Тогда, когда ада хотевшие звери  
Будут телами отправлены в ад!!!  
Февраль 1945 г.*

Батальон построен в линию повзводно. Никогда я ещё не слышал, чтобы замполит командира полка майор И.И. Якушев так говорил – убеждённо, страстно, чётко, отделяя и выделяя каждое слово. Каждый запомнил не только смысл его речи, а и отдельные фразы – точно, как поговорки.

«Сегодня мы перешли старую Германскую границу. Мы в фашистской Германии, мы в самом логове зверя.

Четыре года назад, в октябре 1941 года, немецкие бронированные орды стояли у стен столицы нашей Родины Москвы. Уже Гитлеру был припасён белый конь для торжественного въезда в нашу Москву, уже готовилась медаль для награждения тех варваров, которые разграбят и разрушат нашу древнюю столицу. Но Гитлер и его свора бандитов просчитались. Сегодня мы вошли в Германию, сегодня мы приближаемся к центру логова фашистского зверя.

Ты воин – судья! Ты пришёл в фашистскую Германию, чтобы отомстить!»

Я особенно хорошо помню именно эти слова замполита. Он поднял руку со сжатым кулаком, высокий голос его звенел в тишине:

«Мсти! Мсти за поруганную Родину! За кровь наших матерей, жён и детей, за смерть тех, кто не дошёл досюда, отдав жизнь за освобождение Родины на полях сраженья.

Мсти! Смерть фашистам!

Да здравствует наша великая Родина! Под знаменем Ленина, Сталина к полной победе над фашистской Германией! Ура!»

Над строем батальона прокатилось троекратное хриплое, но громкое «Ура». То, что мы не поняли, не ощутили, устало проходя под аркой, сейчас переполняло каждого из нас.

Через неделю майор И.И. Якушев так же перед строем батальона прочитал приказ командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Г.К. Жукова. В приказе говорилось, что советские воины – воины освободители немецкого народа от фашизма. Они пришли в Германию не как захватчики и грабители, а как освободители народов Европы.

Однако среди солдат имеют место поступки, позорящие славное имя воина-освободителя. Имели место факты беспричинного уничтожения и сожжения жилых домов.

Это не совместимо с высокой функцией Красной Армии и должно сурово пресекаться.

В нашем батальоне не было ни одного случая нарушения этого приказа.

Капитан Ахмеджанов с должности комбата освобождён. Всеми это воспринято как правильное решение. Комбатом назначен майор Виктор Васильевич Юмакаев. Все присматриваются к новому комбату, но пока о нем известно только, что по национальности он татарин и в Казани окончил юридический факультет Университета.

Замёрзшее озеро. На противоположном берегу – фольварк. Связной штаба батальона сообщает, что мы будем размещаться на отдых в этом фольварке. Я вызываю командира отделения разведки младшего сержанта Зверева и приказываю ему с отделением обогнать колонну батальона и разведать фольварк.

Командиров рот вызывают в голову колонны. Майор Юмакаев, к которому мы ещё не привыкли, сообщает, что батальону приказано расположиться на привал, сегодня дальше двигаться не будем, а завтра утром получим приказ о дальнейшем.

Зверев встречает роту на подходе, докладывает, что поместье брошено, никого нет: обыскали чердаки и подвалы – ничего подозрительного не замечено. А когда мы идём с ним рядом, рассказывает:

– Немецкий помещик, видать, жил. Сбежал со всей семьёй, лошадей, коров угнал, а свиней не погонишь – постреляли всех, там в свинарнике лежат. Может, товарищ лейтенант, другой дом нам отведут?

Я пошёл в свинарник. У кормушек лежат огромные серые туши свиней. Их убивали из автомата. У большинства окровавлены головы, у некоторых – следы пуль тянутся от головы через все туловище. За загородкой лежит свиноматка, вокруг – крохотные поросята, они,

видимо, почувствовали смерть, но не хотели умирать, разбежались по всему свинарнику, искали защиту, но солдат-автоматчик наступил на них. Кровь запеклась, почернела, туши раздулись, словно накачаны воздухом, чёрные пятна расплзлись по ним. Для расположения на отдых роте отвели другой дом.

Селения, через которые мы идём, совершенно пусты. Огромные, красного кирпича дома; одноэтажные, двухэтажные; старые, новые. Дома окружены конюшнями, свинарниками – и богатые, помещичьи, и маленькие дворики крестьян. И все пусты: нет ни людей, ни скота. Ночью нет ни одного огонька, не лают собаки; чёрные улицы напоминают ряды гробовых крышек. На ночь мы останавливаемся в таких брошенных деревнях.

Мы переночевали, позавтракали, я уже отдал команду «Выходи строиться», когда пришёл связной с первым взводом солдат Николай Демьянов.

– Товарищ младший лейтенант, а там старуха... одна.

– Где «там»?

– В чулане.

– Покажи.

Демьянов ведёт меня в холодный чулан. В чулане темно, крошечное окно-отдушина почти не даёт света. С трудом рассматриваю, что у стены стоит большая деревянная кровать, на кровати пёстрая перина, много ещё какого-то белья, одежды и из-под них выглядывает бледное костлявое лицо старухи. Увидев нас, она вынимает из-под перины серые, высохшие руки и старается натянуть на лицо какую-то одежду, но сил у неё не хватает.

– Больная или старая совсем. Мы хотели её накормить, она ничего не говорит и не встаёт. Сволочи, сами удрали, а старуху бросили.

Рядом с кроватью большой кухонный стол. На нем много всякой грязной посуды, банки, корки хлеба.

– Вы больны? – спрашиваю старуху по-немецки. Она не отвечает, кажется, даже не слышит или не понимает моего вопроса. Тёмные глаза её, какие-то неживые, чужие, пугливо бегают.

«Сумасшедшая», – невольно подумал я.

Баталов осмотрел полки чулана, посуду на столе, выдвинул ящики:

– Ничего ей есть не оставили. А кашу нашу съела. Вот в эту миску мы ей утром накладывали.

Нам нужно уходить.

– А как же её... Она даже ходить не может. – На мальчишеском лице Демьянова искренняя озабоченность. Я думаю об этом же, чувствуя, что не смогу уйти, не оказав старухе какой-либо помощи. Но как и что сделать для неё, не знаю.

Вспомнил, вчера вечером, когда мы вошли в деревню, во дворе одного дома я видел двоих тоже старых женщин.

– Вот что, Демьянов, иди и разыщи кого-нибудь из тех старух, которых я видел вчера.

Он убежал. Срочных дел много. Я забыл о данном распоряжении. Услышал на дворе сумасшедший плач и крик женщины. Не понимая, что происходит, встревоженный, выскочил за ограду. Демьянов с ещё одним автоматчиком силой тащат к дому старую немку. Яростно отбиваясь, она орет так, как только может. Увидев меня, солдаты останавливаются, немка замолкает, плача, о чем-то начинает просить меня, но я понимаю только её обращение:

«Господин офицер, господин офицер...»

Демьянов растерян, смущен; виновато докладывает:

– Товарищ младший лейтенант, мы ей объясняли, объясняли, она не понимает ни по-русски, ни по-немецки, а как с ней ещё...

Вокруг собирается вся рота. Мобилизуя весь школьный запас немецких слов, я, как могу спокойнее, объясняю женщине, что там, в холодном чулане лежит старуха, больная старуха, и мы перенесём её в тёплую комнату, а вас просим кормить и ухаживать за ней.

Немка долго не может успокоиться, плохо слушает мои объяснения и, вытирая слезы кончиком фартука, совсем как русская крестьянка, все оглядывается на солдат с автоматами, окружающих её.

– Идите в строй, – приказываю я солдатам. И ещё раз повторив просьбу немке, сам ухожу к роте, решив, что так будет лучше.

Недолго постояв в воротах одна, видя, что солдаты строятся, чтобы уйти, немка нерешительно входит в дом, где лежит больная.

Большой зал без мебели: школа или клуб в немецкой деревне. Офицеры полка выстроены в две шеренги. В полк приехал командир дивизии полковник Соболев.

Командира дивизии я вижу впервые. Он обходит строй офицеров, строго, придирчиво осматривая их обмундирование.

– Капитан, почему вы в ватных брюках? – Он строго говорит о том, что Красная Армия сейчас стоит в самом центре Европы, за её победами, поведением пристально следит весь мир; советский офицер должен быть всегда подобающе одет, подстрижен и побрит.

Я знаю капитана. Он командир хозяйственной роты. Командир дивизии даёт ему тридцать минут, чтобы он побрился, подшил воротничок и переоделся. Вслед за капитаном удаляются из строя ещё несколько офицеров.

На полковнике поношенная, как-то глубоко, по-стариковски, надетая фуражка с зелёным околышком; фуражка мне кажется гражданской. У Соболева серое, дряблое лицо. Мне кажется, что полковник сильно болен, ему очень тяжело, но преодолевая внутреннюю боль, он морщится и прилагает все усилия, чтобы никто не заметил его болезни.

Каждый офицер, к кому приближался командир дивизии, представлялся. Представился и я. Полковник ни о чем меня не спросил и не сделал никакого замечания.

В деревне мы стоим вторые или третьи сутки. Сегодня командир дивизии лично проводит офицерские учения: полк в наступлении за артиллерийским валом.

Большие, с грязными проталинами поля. Кругом чёрный лес. Погода отвратительная: дует пронизывающий ветер, идёт сырой снег. Поснимав ватные телогрейки и брюки, как было приказано вчера, мы попросту заоченели, лица у нас синие. Полковник Соболев все в той же низко нахлобученной полугражданской фуражке. Болезненное лицо его покрылось фиолетовыми пятнами. Но он, кажется, не замечает непогоды, только иногда растирает посиневшие кисти рук.

Неторопливо, очень подробно, академически чётко и точно объясняет он нам действия всех подразделений на каждом этапе боя.

Рубеж сосредоточения... Атака. Бой за первую траншею. Бой в глубине обороны противника. Окружая командира дивизии нестройной толпой, не смея прикрыться от ветра и снега, мы идём за ним от одного мнимого рубежа на другой.

Помню, что полковник Соболев произвёл на меня хорошее впечатление: никогда я ещё не присутствовал на таком подробном, очень квалифицированном разборе боя полка.

Обочинной дороги, навстречу движущимся войскам, по одному, группами, семьями идут люди. Старые и молодые, женщины, старики. Они в полосатых куртках с пришитыми номерами; идут пешком, едут на велосипедах; с котомками за спиной, с узелками в руках. Они улыбаются, поднимают руки, обращаясь к нам на своём языке, показывая на свои номера, пришитые к курткам. Мы не понимаем, о чем они кричат, но полосатая куртка и личный номер концлагеря, откуда они идут, служат сейчас для них лучшей защитой от всех бед.

За обочинной дороги, у кустов стоит толпа: женщины, дети, старики. Одеты по-разному, но полосатых курток не видно, не видно рваных заплатанных пальто. Они жмутся друг к другу,

не улыбаются и не кричат нам, они молча, со страхом смотрят перед собой, на движущиеся мимо колонны войск.

Немцы. Это сразу бросается в глаза. Они, видимо, вышли из леса, неожиданно столкнулись с колонной, и теперь боятся уйти от дороги или вообще куда-либо двигаться, чтобы не вызвать подозрения.

Батальон останавливается на привал. Замечаю, за толпой женщин стоят молодые мужчины, грязно одетые, обросшие. Один из них, белообрый, пухлощёкий, как-то недобро взглянул на меня, отвернулся. Мне стало не по себе. Какое-то недоверие закралось и беспокоило меня.

Верхом на лошади к толпе немцев подъезжает командир взвода разведки полка. Остановился, внимательно осматривая толпу. Я хочу подойти, поделиться своими подозрениями. Подскакивает конная группа разведки. Командир приказывает им окружить толпу. Немцев окружают, пропускают женщин, стариков, детей и на обочине остаётся чуть больше десятка здоровых мужчин, одетых по-разному, но чем-то похожих друг на друга. У первого под одеждой находят пистолет и гранаты, у другого – автомат. Разведчики предостерегающе поднимают автоматы.

Диверсантов отесняют от дороги к опушке. Приезжает переводчик, но они не отвечают на его вопросы. Вдруг пухлощёкий падает на колени, ползёт к командиру разведки, кричит на ломаном русском языке:

– Я поляк... Я поляк. Не расстреливайте меня...

– Сволочь! Какая разница немец ты или поляк, если у дороги караулишь меня с автоматом, – кричит кто-то из разведчиков.

Диверсантов расстреливают перед движущейся колонной полка.

*«...командир корпуса приказал командиру 207-й стрелковой дивизии одним полком захватить Закальнов, а вторым занять Мариенхез и наступать на Тарновке».*

*«594-й стрелковый полк 207-й стрелковой дивизии... совместно с подразделениями 598-го стрелкового полка, занявшими Закальнов, в 16 часов 15 февраля атаковали противника в районе Вангерц и Тарновке».*

*В результате трехчасового напряженного боя подразделения двух стрелковых полков разгромили врага в этом районе и к 19 часам овладели рубежом Дойч-Фир, Эспенхаген, Тарновке. Разбитые части противника сдались в плен».*

*А.С. Завьялов, Т.Е. Калядин.*

*Восточно-померанская операция. М., 1960. Стр. 72–73.*

Ночью нас торопят. Стремительным маршем входим в село. Село совершенно пустынно. Хотя мы уже много дней, с самой немецкой границы, идём через безлюдные деревни, до сих пор к этому привыкли. Слева, где-то совершенно рядом, за селом, в лесу идёт бой. Ружейно-пулемётная стрельба там то затухает, то разгорается с новой силой, бой то удаляется, то приближается к нам. Иногда мне кажется, что бой ведётся где-то на краю села, и до нас долетают громкие крики «Ура!». Я кожей чувствую, как в тесной цепи идут в атаку солдаты чьей-то роты.

Все вокруг напряжены и встревожены, разговаривают полушёпотом, словно их могут услышать. Заняв село, батальон не получает приказов на дальнейшее действие и это вносит ещё большую тревогу. Связной прибегает с приказом: девятой роте занять кирху, на колокольне установить наблюдение; на окраине села выставить усиленное охранение, оседлать дорогу, по селу организовать усиленное патрулирование. Всем быть готовыми выступить в любую минуту. Телефонной связи не будет. Только через связных. Командиру роты быть в кирхе.

Отдаю приказы. Первый взвод под руководством Ветрова занимает оборону на окраине, второй – патрулирует в селе, третьему поручается кирха. В лесу вспыхивает и разрастается пожар: горит соседняя деревня. Отблески пламени зловеще освещают и лес, и низко нависшие тучи, и крыши нашего села.

В церкви непривычная тишина. Свет ручных фонариков отражается в окладах икон. Солдаты стягивают с головы шапки, говорят вполголоса, с любопытством рассматривают предметы храма. Мы с наблюдателем поднимаемся на колокольню.

Чёрная безлунная ночь. Вокруг церкви – тёмные коробки домов. По лесу, еле определяя полосу, вспыхивают и гаснут светлячки автоматных и винтовочных выстрелов. Пожар расплывается по лесу, мешает наблюдать, и я не могу понять, в каком направлении движется бой.

Оставив на колокольне наблюдателей, возвращаемся в кирху. Мне нужно обойти село, проверить патрули. Замечаю, что солдаты что-то рассматривают внутри храма. Только сейчас замечаю: на всех стенах, опоясывая храм, висят различные по размеру и убранству венки и веночки. Некоторые из них помещены в глубокие деревянные коробки, как икона, сверху покрытые стеклом. В тусклом свете под стеклом с трудом просматриваются фотографии и надписи к ним. В некоторых фотографий нет, только в центре – имя и фамилия. Подходит Клишин:

– Погибшие. Призвали из этого прихода.

Начинаю более внимательно вглядываться в коробки, висящие по стенам храма. Он прав. В коробках – молодые люди в военных мундирах. Дата гибели: 1941, 1942, 1943, 1944. Рассматриваем ближайшую к нам коробку. Лучик фонарика освещает засохший веночек, в середине – мальчишка. На нём солдатский мундир. Дата смерти – 1942 год.

– Этого под Сталинградом наверно, – говорит Клишин.

Я оглядываюсь, мельком осматриваю стены. На всех стенах, кое-где даже в два, три ряда висят такие же коробки с венками и надписями внутри. Сельский храм. Большой ли у него приход? Все, кто мог носить мундир и оружие, ушёл и не вернулся. Странное чувство охватывает меня: «Где же веночки тем генералам, гитлеровцам, его подручным и выкорышам, которые хотели мирового господства, развязали эту страшную войну?.. Всё досталось этим мальчишкам, крестьянам, обманутым. Им ничего не нужно было...». Клишин стоит рядом. Он говорит, ни к кому не обращаясь, но его слова почти дословно повторяют мои собственные мысли:

– Венки мальчишкам, крестьянам, снятых, оторванных от земли. Не сказали – за что, во имя чего? Что им было нужно от этой бойни? Миллионы жизней загубили, сами убиты, отцам и матерям до смерти мыкаться теперь... Крестьяне. Им ведь ничего не нужно было. Сотни лет здесь жили... – Чувствую, что «старик Клишин», как мы его за глаза звали в батальоне, расстроен, и его уже не сдержать. – И они бы жили, радовались детворе, весне, урожаю, нет... Земли чужой им надо, простора, пространства. Что сейчас? У каждого здесь живёт мать, отец, сестрёнка, невеста...

Вокруг нас стояла толпа наших солдат. Они тоже впервые увидели всё это и, может быть, были охвачены тем же чувством, что и мы с Клишиным: «Зачем? Радо чего? Во имя чего?» Чужое горе придвинулось к нам. Все, видимо, поняли, что война принесла горе не только нам, русским, советским, но и трудовому немецкому народу.

С ординарцем и связным идём по тёмной улице на окраину села. Там – первый взвод. Из темноты появляется Ветров, не докладывает, говорит шёпотом:

– Тихо, товарищ младший лейтенант. Раненые через наше охранение выходят. Рассказывают, немцы к морю прорываются, из окружения хотят выйти...

Из ночи подходят трое. Головы, руки забинтованы. Разговорчивый сержант рассказывает:

– Из Шнайдемюля немец вырваться хочет. До рукопашной доходит. Но здесь ему не пролезть, не проползти.

Узкая просёлочная дорога извивается по песчаным буграм между стенами густого ельника. Ночью, видимо, висел густой туман, с рассветом туман осел, в тени сырые ели кажутся чёрными; восходит солнце. Крупные капли росы, отражая солнце, блестят. Конец февраля. Начинается не по-зимнему тёплое солнечное утро. Третий батальон движется походной колон-

ной. Привал. У солдат хорошее настроение. Они группами рассаживаются на обочине дороги, аппетитно курят, громко шутят и смеются. Опушкой густого ельника, в короткой стёганой куртке, с катушкой за спиной идёт связист. Идёт так близко к деревьям, что правым плечом цепляется за ветви; роса окатывает его с головы до ног, но он идёт и идёт вперёд, наклоняясь, словно против сильного ветра, пружиня на молодых сильных ногах. Сделав несколько шагов, он оглядывается на сползающий с катушки провод и машинальным движением руки забрасывает его на ветви. Связист знает – солдаты любят его быстрой и ловкой работой, поэтому особо старается. Я тоже люблюсь им, таким красивым в своей работе.

Наблюдая за связистом, солдат говорит мне:

– Оборону, значит, занимать будем.

– Откуда ты знаешь?

– Генерал думает – солдат знает, товарищ младший лейтенант.

– Коли линию связи тянут, стоять в обороне будем.

Я удивился простоте и ясности суждения своих солдат, хотя не придавал им значения.

На обед батальон располагается в густом сосновом лесу. Прибегает связной штаба батальона: комбат вызывает командиров рот. На небольшой лесной поляне – красного кирпича двухэтажный дом, окружённый постройками. Это штаб батальона. Здесь встречаю сноровистого связиста, работой которого любовался утром. Двор заставлен повозками; под навесами – распряжённые кони; судя по всему, и двор, и дом давно обжиты нашими подразделениями.

Во дворе ожидаю Коновалова и Старцева. Со старшим лейтенантом Старцевым у нас хорошие отношения. Мы никогда не говорим о прошедшем.

Майор В.В. Юмакаев сидит за столом в большой и высокой светлой комнате на втором этаже. Напротив – незнакомый, небольшого роста, черноволосый и чернобровый майор. Перед ним – карта.

– Будем занимать оборону – говорит Юмакаев, не вставая из-за стола.

Новый комбат интересуется, конечно, всех нас. Сейчас, сидящий за столом, он кажется мне совершенно гражданским человеком.

Приказ занять оборону: седьмая рота на левом фланге, восьмая – в центре, девятая – на правом. Связные штаба «чернявого майора», ведут нас на передний край, каждого на свой участок: рота сменяет роту. С нами идут командиры взводов и связные.

На крохотной лесной полянке, среди густого ельника, меня и командиров взводов уже ждёт старший лейтенант – командир роты, которую мы должны сменить. Старший лейтенант – казах: у него широкое скуластое и приветливое лицо. Хотя прохладно, он без шинели; оживлён, говорит и смеётся громко, обнажая редкие жёлтые зубы бывалого курильщика. На голове у него офицерская фуражка с красным ярким околышем и офицерский новый ремень с медной пряжкой. «Вот пижон» – думаю я о нём.

Рядом со старшим лейтенантом связные. С одним из них он посылает мои взводы, распоряжаясь, словно у себя во дворе. Довольный, почти счастливый, что его меняют, он смеётся, рассказывает:

– Там у меня ручник, – энергично жестикулируя, показывает куда-то через лес. – Днём подхода к нему нет: немцы просматривают, пулю могут в заднее место всадить. Как стемнеет, сползаю за ним, сменяю. Ты ставь один ручник туда... Ночью больно не ездите. Старшина у нас к немцу попал. Ехал в роту, ужин вёз, задремал видно или дороги перепутал, ну и уехал напрямиком к немцу.

Мы стоим с ним в глубине леса, передний край проходит по опушке, обороны отсюда не видно. Я невольно думаю: «Что у него за оборона такая, что старшина переехал передний край и никого не видел, и его никто не видел...». Оборона рисуется мне состоящей из нескольких сплошных траншей, проволочных заграждений, глубокоэшелонированной, с запасными позициями.

Мои взводы ушли. Из леса к нам выходят группы солдат – три, пять человек. Офицеров среди них нет. Кто-нибудь из солдат докладывает старшему лейтенанту, что оборона передана вновь прибывшему подразделению. Я жду – начнут выходить взводы, пулемётные расчёты, но старший лейтенант стал прощаться.

– А где твоя рота? – спрашиваю я.

– Вся здесь. – Он как-то сразу меняется в лице. – Пока шли сюда, полегли ребята. Здесь – все, кто остался. А оборона? Почти километр. Сплошной лес, овраги и соседа справа нет. Может, у тебя будет. Немцы сквозь нашу оборону как через дырявый забор в тыл к нам гулять ходили. Ну, младший лейтенант, обороняйся. Похоже, что немцы здесь отступать не собираются, а оборона у них немного разве лучше нашей... А мы, думаю, на формировку, пополняться.

За ним ушла кучка – человек десять-двенадцать его роты. Совсем стемнело, когда мы встретились снова. Я возвращался в роту из штаба батальона. Вижу – в лес входят трое. Узнал старшего лейтенанта по высокой, широкой в плечах фигуре и крупной голове в фуражке. За ним – двое солдат. У одного за спиной ручной пулемёт, у другого – сумка с дисками.

– Последних снял... – они торопливо закуривают и жадно, молча курят.

Говорим вполголоса. Я наблюдаю за ними, не тороплюсь прощаться, хотя очень занят; жду, когда они накурятся. Они курят, как курят люди очень усталые, но довольные, закончившие своё дело.

Мы тепло прощаемся. Совсем стемнело. В темноте видны только серые лица. Я жму невидимые шершавые ладони, потом смотрю, как бойцы уходят: их тени почти мгновенно сливаются с мраком, особенно густым под кронами деревьев.

Я внимательно, шаг за шагом, изучаю участок обороны, отведённый роте. Сплошных траншей, оборудованных пулемётных гнёзд, как я себе представлял оборону, здесь нет. Оборона роты состояла из нескольких отдельных ячеек, небольших окопов, связанных днём – видимостью, ночью – патрулированием.

С командирами поочерёдно первого, второго и третьего взводов мы шаг за шагом проходим всю передовую линию обороны. Приказываю рыть траншею в полный профиль.

В передовой траншее ночью солдаты бодрствуют, днём – спят, оставляя в окопах дежурных наблюдателей и пулемётчиков. За первую ночь мы решили откопать сплошную траншею для стрелковых отделений.

Передний край обороны батальона проходит по лесистому склону глубокого и широкого старого оврага. Дно оврага местами заросло редким камышом и кустарником; густой кустарник скрывает и более крутой, противоположный склон, по верхнему краю которого тянется вражеская оборона. Никто, конечно, не мерил расстояние между нашей и немецкой траншеями, но оно было меньше 200 метров: когда немцы днём ходили по краю оврага, мы без бинокля хорошо видели их лица, пуговицы на шинелях, детали формы.

Днём из окопов своей роты я в бинокль часами изучаю вражескую оборону; ведут наблюдение и сержанты, и солдаты. Через несколько дней мы уже во всех деталях знаем оборону противника, его пулемётные гнезда и даже место, куда ночью к ним подъезжает кухня.

Взвод младшего лейтенанта Ветрова занимает оборону на правом фланге роты, сама рота – на правом фланге батальона. В первую же ночь Ветров спрашивает меня, где проходит оборона соседа справа. Мы стоим с ним среди тёмных стволов сосен. Кругом лес, в темноте солдаты первого взвода, сняв шинели, молча роют траншею, справа от нас, на юго-восток, соседа по обороне нет. Густой лес молчит, слитый ночью в сплошной непроглядный мрак.

Правый фланг роты и батальона открыт, это беспокоит и Ветрова, и меня. Звоню майору Юмакаеву. Он знает об этом, говорит:

– Ищем соседа справа... По нашим данным, справа держат оборону польские войска.

На другой день, уже вечером, ко мне приходит командир пулемётной роты старший лейтенант Н.Т. Гольчиков, с ним – несколько пулемётчиков. Сильно устали. Все приваливаются к стволу сосны, просят чем-нибудь накормить.

Мы постоянно встречаемся с Гольчиковым в штабе батальона. Но он запомнился мне ярче всего в эту встречу, ночью, в лесу. Командир пулемётной роты, пожилой в моем тогдашнем представлении, на фронте, наверное, с первого года войны. Он отличается сдержанностью, знанием своего дела. Комбат знал, кого послать с таким заданием. Сидя у сосны, Гольчиков ест кашу из моего котелка и рассказывает негромко и устало:

– Всю прошлую ночь лазили, и сегодня весь день. Никаких поляков справа у нас нет. Никого нет: ни наших, ни немецких частей. Далеко ходили: кругом густые леса, деревни – ни жителей, ни немцев, ни поляков, ни скота, ни птицы – никого...

В один из первых дней на наш участок обороны приходит Василий Григорьевич Коновалов. За эти фронтовые месяцы, будучи постоянно вместе, мы, трое командиров стрелковых рот, так сдружились, что когда были наедине, обращались друг к другу только по имени. Василий пришёл с ординарцем и связным. Никогда и никуда не ходить одному и без оружия, ни солдату, ни офицеру – строго обязательное фронтовое правило. Оно становится привычкой. Василий усвоил давно: никогда, ни при каких условиях не оставлять оружие. Этому учат на фронте в первые дни, недели, учат настойчиво, терпеливо, вырабатывая автоматическую привычку всегда чувствовать в руках оружие. Ешь кашу – автомат стоит рядом, на расстоянии вытянутой руки; замполит собрал на политическое занятие, солдаты садятся прямо на землю, на корни деревьев, на лапник елей – автомат лежит на коленях или стоит рядом, наклонённый на плечо; лёг спать – автомат в изголовье или рядом; побежал выполнять задание командира – автомат за плечом; даже чтобы сходить «до ветру», опытный солдат возьмёт с собой оружие.

Спустились сумерки. Я показываю Василию ротную оборону, веду передней траншеей. Глубокий, заросший кустарником овраг своим верхним краем врезается глубоко в лес, разделяя роту, а нижним, глубоким концом вливается в тот широкий овраг, который служит нейтральной полосой. Овраг этот меня беспокоит с первого дня, и я часто думаю, как мне с ним быть. Когда мы доходим до оврага, Василий останавливается. Я ещё не успеваю ему объяснить, но он все понимает сам.

– Ты перегороди его жердями. Колючей проволоки едва ли найдёшь. Консервных банок навешай, чтоб гремели, траншеей перекопай, а на ночь ребят посади в неё посмелее. Если ночью немцы ходят к нам в тыл, то только этим оврагом: кусты вон какие, ещё и ночью на дне оврага – глаз выколи. И пройдёшь, и проедешь, и никто не заметит.

Весь участок обороны встревожил Василия: с противоположного склона оврага, занятого немцами, почти вплотную к нашей траншее подходит кустарник; просматривается только узкая полоска по дну оврага.

– Ты помнишь, я рассказывал тебе о Николае Павлоцком? Вместе учились... – говорит Василий. – Так вот, он командует взводом 120-миллиметровых миномётов в нашем полку. Оборона у тебя тяжёлая: немцы подползут – не заметишь. Попрошу я Николая, пусть пристреляет твой передний край.

Василий не забыл о своём слове. На другой день лейтенант артиллерии Н.Г. Павлоцкий со связистом пришли в роту. Павлоцкий среднего роста, но крепкого сложения, с круглым, чуть полнеющим щекастым лицом. В новом обмундировании, стянутый скрипящими ремнями, в новой фуражке с чёрным околышком, он в первую минуту знакомства кажется мне щеголем, празднично, нарядно одетым. Деловито, без лишних слов, Павлоцкий говорит мне:

– Василий меня просил... Покажи свой передний край.

Начинаем с правого фланга. Чуть поднявшись над бруствером траншеи, он внимательно осмотрел нейтральный овраг, сразу поняв и оценив характер местности и условия обороны.

Связист, с которым он пришёл, уже установил телефонный аппарат и проверяет связь со взводом.

– Давай старшего на батарее...

Через несколько минут откуда-то из-за нашей спины, из-за леса, будто вызванная магической силой, поднялась, приближается, нависая над лесом, тяжёлая мина. Тонкий шум, свист её, родившийся где-то далеко под землёй, стремительно нарастает, проносится над нашими головами и, как огромная бумажная хлопущка, рвётся в кустах, на самом дне оврага.

– Далековато... – оценивает лейтенант – Если немцы поползут, ты их увидишь ближе, мы тебе тогда не поможем. – И командует в трубку: – Старшина, подтянуть...

Через несколько секунд снова откуда-то из-за наших спин, словно из преисподней, молниеносно приближается, нависает над нашими головами, проносится мина. Взрыв теперь более оглушитель: мина рвётся на нашем склоне оврага.

– Старшина, закрепить!..

Он разворачивает свою шикарную планшетку и что-то помечает на карте. Мы перебираемся с ним и его связистом в траншею второго взвода, потом – третьего, и против каждого взвода Н.С. Павлоцкий пристреливает новый «ствол» и приказывает: «закрепить!..». Не вмешиваясь, я внимательно слежу за работой лейтенанта. Он мне нравится своей расторопностью и деловитостью: «коли подряд взял, дело надо сделать быстро и добротнo...».

Спустилась ночь, когда закончили пристрелку всего переднего края роты. Линию связи и телефон они оставили на наблюдательном пункте роты. Я пригласил Павлоцкого поужинать вместе. Николай Семенович согласился. Позвонили Василию, он пришёл. Друзья стали вспоминать, как вместе учились в миномётном училище, вместе воевали, а потом встретились совершенно случайно.

Немцы на нашем участке не делают попыток перейти в контрнаступление, но каждое утро, перед тем, как ложиться спать и вечером или ночью, обходя позиции взводов, я звоню командиру батареи капитану Сливе или лейтенанту Павлоцкому, проверяя связь.

Сейчас, встречаясь, чтобы вместе отпраздновать День Победы, мы день за днем вспоминаем свои фронтовые походы, бои, дни и часы отдыха.

Николай Семенович непременно вспомнит:

– Так миномёты моего взвода всё время, пока стояли в обороне, и были на этой пристрелке...

Командиры стрелковых рот вызваны в штаб батальона. Майор Юмакаев, сидя за столом, отдаёт приказ: сегодня ночью во что бы то ни стало достать «языка». Комбат старается быть очень строгим, нарочито сурово смотрит нам в глаза своими чёрными татарскими глазами. Мы молчим. Юмакаев знает, что это приказ командиров полка и дивизии.

Кто в военном училище не увлекается темой ночного поиска, ночной разведки? Увлекался и я. Увлекался и тогда, когда учил солдат. Чтобы научить солдата, отделение, взвод вести ночной поиск, нужно много времени: нужно научиться ночью ходить по азимуту (по компасу или звёздам), вести рукопашную борьбу, владеть ножом; иметь специальное снаряжение и одежду.

Времени на обучение солдат ночному поиску у нас почти не было; никто из них никогда раньше даже не участвовал в разведке. Мы стоим перед комбатом – я, Коновалов и Старцев. Каждый сознаёт сложность задачи. Комбат повторяет приказ. Мы молчим: приказ не обсуждается, приказ выполняется.

Из 9-й роты в первую ночь в тыл к немцам идёт отделение разведки – отделение младшего сержанта Зверева. Но командовать разведчиками я приказываю младшему лейтенанту Ветрову. Немцы не ожидают нашей разведгруппы, она возвращается с «языком» и без потерь. Первая удача воодушевила всех. Ночной поиск оказался делом простым и неопасным.

Пленный сидит у стола. На столе пылает фитиль из гильзы артиллерийского снаряда. Развязанный, он растирает отёкшие от ремней руки, недоверчиво и удивлённо озирается на землянку, на сидящих вокруг. Он солдат, шофер грузовой машины, на которой всю войну подвозил к переднему краю пайки и патроны. Служил в Бельгии, во Франции, в России с 1939 года, с первого дня войны. И сегодня ночью он привёз из тыла на передний край какое-то снаряжение. Оставив машину в километре от переднего края, дальше отправился пешком, как ходил всегда, и попал в засаду. Сутулясь и оглядываясь по сторонам, он отвечает охотно, но знает мало. Вся его дорога состояла из подвозки кухни и патронов только к этой роте, стоящей напротив нас. Это уже немолодой человек, где-то там, в Германии, у него семья, мать. Он понимает, что война приближается к концу, и уже собирался быть дома, но вот...

Несмело озираясь, немец спрашивает, будет ли он расстрелян или направлен в лагерь военнопленных. Я говорю ему, что если он сам расскажет все, что знает, жизнь ему будет сохранена, и его отправят в лагерь.

– В Сибирь?

– Возможно и в Сибирь... Я сибиряк – хорошие места, – сказал я и вдруг понял, что забылся. Язык удивлён, смотрит неподвижно на меня.

Отправляем пленного в штаб батальона, в тыл.

Через два или три дня приказывают достать нового языка. Но немцы, наученные опытом, сейчас гораздо осторожнее, чем прежде. Ночь стоит тихая и светлая – для разведки самая неудобная. Разведчики ползут. Рота замерла в ожидании. Их заметили, обнаружили рано. Откуда-то сбоку. Вдоль нейтральной полосы открыл огонь вражеский пулемёт. Над оврагом повисли осветительные ракеты. Я на наблюдательном пункте во мне всё сжимается. Нужно прикрыть отход, и по немецким позициям с разных концов нашей обороны открывают огонь ручные и станковые пулемёты. Не доверяя пулемётчикам, не зная другого решения, бросаюсь за станковый пулемёт и строчу в темноту, чтобы дать разведке вернуться. Завязывается дуэль. Вражеские пулемёты переносят огонь с разведчиков на нас. Сосна, стоящая рядом, слева, сыплет на голову сбитую хвою и кору.

Вскоре разведчики вернулись, и на плащ-палатке лежало ещё тёплое тело пулемётчика Сороки. Он стал первым солдатом нашей роты, погибшим после формирования. Его тело положили на телегу, чтобы увезти в тыл; группа солдат, молдаван и русских, из его взвода, пошла проводить его через лес. В лесу, когда нужно было возвращаться обратно, я велел остановить подводу. Это был наш первый траурный митинг. Солдаты стоят вокруг телеги, на которой скрюченный, искажённый смертью, лежит Иван Васильевич. Мне хочется сказать что-то такое, чтобы солдаты запомнили, поняли, что враг жесток, что мы должны учиться победить его с меньшими потерями. Солдаты молчат, и речь моя кажется мне самому неубедительной и даже – ненужной.

Через несколько дней снова получен приказ на ночной поиск. После того, как разведка была врагом обнаружена и вернулась, не выполнив приказа, после смерти Сороки, мы готовимся особенно тщательно. Командир батальона лично даёт разведчикам последний инструктаж. Хотя всё, что он говорит, уже обсуждалось, всё, что проверяет, проверено Ветровым, а затем мною, участие комбата делает подготовку серьёзной, значимой.

Разведчики уползли за передний край. Юмакаев с ординарцем и связным остались в моей землянке ждать их возвращения. Я был на наблюдательном пункте в первой траншее. Я не оговорился – уползли. Именно так мы говорили тогда. И это было наиболее точно. Нейтральная полоса, расположение немецких позиций, тропинки и дороги, по которым они ночью ходили и уходили, нам теперь были известны. Разведка велась на участке вражеской обороны, лежавшей против третьего батальона. Нейтральную полосу разведчики преодолевали по-пластунски, по-пластунски ползли между огневыми точками противника к нему в тыл (немцы не имели

сплошной линии обороны), к дорогам, ведущим в деревню, отстоящую километрах в трёх от переднего края.

Юмакаев «сидит» у меня в землянке, у него в штабе «сидит» кто-то из штаба полка, в штабе полка «сидит» – из штаба дивизии. Все ждут возвращения разведчиков. В землянке постоянно звонит телефон. Я на наблюдательном пункте. Зловещая тишина. А может, мне только так кажется. Солдаты не ходят по траншее, не разговаривают между собой, кажется, даже не присаживаются на корточки на дне траншеи покурить, как делают обычно: все напряжённо всматриваются в нейтральную полосу, стараясь что-нибудь увидеть или услышать. Юмакаев постоянно вызывает меня в землянку, встречает вопросительным взглядом, задаёт один и тот же вопрос: «Вернулись? Как ведёт себя противник?»

Звонят из штаба батальона, полка. По тону разговора, по той нервозности, с которой майор Юмакаев даёт ответы, я понимаю, что на него действительно «жмут», требуют любой ценой достать языка, а он ждёт этого от меня, от разведчиков роты. Сидеть в землянке вместе с майором я не могу: нетерпение и тревога гонят меня на наблюдательный пункт. У противника тихо, и это успокаивает, хочется верить в успех. Приближается рассвет, разведчики не возвращаются. Они приползают в самые последние минуты перед рассветом. Приползли, не выполнив задачу – без языка и без одного своего солдата. Я помню лица этой ночи и этого утра.

Лицо младшего лейтенанта Ветрова, руководившего поиском – бледное, с ввалившимися глазами, небритое. Стоя на вытяжку перед комбатом, он докладывает, путается, начинает снова. Ему хочется доложить коротко, чётко, «по уставу», и в то же время найти какое-то веское объяснение причины: «Приказ не выполнен, взвод вернулся, потеряв одного убитым». Он не говорит. Ему не хочется говорить. Он хочет объяснить коротко и точно, как всё было, а у него получается путано и длинно. Я помню этот доклад. Потом, уже отдохнувшие, мы обсуждали результат поиска детально и спокойно.

Разведчики незамеченными переползли нейтральную полосу, передний край, устроили засаду на дороге в деревню. Лежали до полуночи, немцев не было; пошли к деревне, устроили новую засаду, но ни одного немца не появилось ни на дороге, ни в деревне. Приближалось утро. Поползли обратно и у самого переднего края обнаружили, что одного солдата нет.

Объяснить его исчезновение Ветров не мог. Противник не обнаружил разведки, не обстреливал её: солдат не мог быть убит. Немцы не появлялись близко, звучит, они не могли наткнуться на него и взять его в плен. Наткнувшись на одного, они бы не упустили всех остальных. Солдат был молодым, совсем молодым, – комсомольцем; никто из нас даже не подумал, что он мог оказаться предателем. Не думали и не говорили.

Юмакаев взбешён. Я никогда ещё не видел его таким. Лицо его, даже освещённое красным светом коптилки, кажется мне тёмно-зелёным. Опираясь на сучковатую палку, с которой он мечется по тесной землянке, задыхаясь от злобы, пронизывая Ветрова и его помощника младшего сержанта Русанова ненавидящим взглядом чёрных татарских глаз, он кричит, брызгая слюной:

– Растяпы вы, мать вашу... языка не взяли, а своего солдата немцам подарили... Я прикажу вас расстрелять сейчас же... за невыполнение приказа, за предательство...

Младший сержант Коля Русанов что-то хочет объяснить ему. В.В. Юмакаев шагает к нему и со злобой бьёт по лицу. Мне не видно лица Русанова: оно в тени, но я чувствую, как оно, серое от усталости, перепачканное окопной грязью, исказилось мальчишеским страданием.

Нам – мне и Ветрову – приказано в следующую же ночь снова ползти к немцам, найти или тело солдата, или какие-либо следы его, или притащить немецкого «языка», который бы рассказал о судьбе нашего солдата. Теперь я не помню, как мы провели этот день. Наверное, готовили новую группу, тренировали её, изучали ещё раз карту, маршрут, проверяли оружие. В памяти сохранилась только горечь о потерянном товарище и тяжёлый осадок от всего случившегося. Мы считали себя до конца и во всем виновными: мы действительно не выполнили

приказ достать «языка», мы действительно «подарили» немцам своего солдата. Выполнение приказа – закон для подчинённого. Мы воспитывались на том, что приказ должен быть выполнен любой ценой. Командир обязан добиться выполнения приказа любыми средствами вплоть до применения оружия. Язык не взят – приказ не выполнен. Это тяготило всех офицеров и солдат 9-й роты. Мы с Ветровым договорились о том, что пойдём на любой риск, если потребуется – на день укроемся в лесу, в тылу у немцев, но или найдём своего солдата, или добудем сведения о его судьбе.

Спустилась новая ночь. Мы поползли. По боевому уставу пехоты в разведке я должен был ползти впереди, Ветров – замыкающим всего поиска. Но он был в тылу у немцев вчера, знал дорогу и добровольно изъявил желание, даже настоял – ползти впереди. Замыкающим полз младший сержант Николай Русанов.

Минуем наш склон, хорошо днём просматриваемый и нами, и немцами, дно оврага, поднимаемся на склон, занятый противником. Впереди что-то произошло. Что? Теперь забыл. До моего плеча кто-то дотронулся – сигнал остановиться, быть готовым к встрече с противником. Замерли, распластались между кустами. В голове у меня проносится тревога: «Неужели обнаружили, неужели придётся возвращаться?..» Через несколько минут от Ветрова приходит связной – ползём вверх по склону, преодолеваем передний край противника, потом ползём в глубину несколько сот метров. Теперь мы в тылу, здесь можно встать и идти. Идём молча, не издавая ни одного звука. Вот дорога. Здесь вчера и была сделана первая засада. По обе стороны – канавы, кусты, какие-то ямы, расходимся во все направления. Зовём шёпотом, останавливаемся, слушаем, снова зовём, осматриваем ямы, кусты. Потерянного вчера солдата находят в яме в нескольких метрах от дороги: он жив и невредим. Сейчас я уже не помню фамилию этого солдата, но в лицо, я уверен, и сейчас узнал бы его. Тогда ему было лет восемнадцать-девятнадцать.

Нам всем легко, даже весело. На какое-то время мы даже забываем, что мы в тылу у противника, собираемся в кучу, забыв о наблюдении, громко разговариваем, обнимаем и хлопаем найденного по плечам. Тем же маршрутом выползаем обратно, ведём солдата в мою землянку. В первую очередь я звоню майору В.В. Юмакаеву.

Помню лицо солдата при свете коптилки, бледное, с синими кругами вокруг глаз, по выпачканным щекам пролегли две грязные извилистые дорожки от горьких мальчишеских слез. Шаг за шагом выясняем все детали, обстоятельства, как мог он остаться в тылу. Солдат рассказывает мало: он не понял, как все произошло. Мы расспрашиваем его, как возвращённого с того света. Выясняется, что в засаде у дороги он лежал крайним, никому ничего не сказав, ушёл в лес, чтобы справить большую нужду. В эти минуты Ветров дал приказ отходить, возвращаться. Когда парень вернулся на то место, где только что лежал, и никого не нашёл, решил, что вышел не на то место. Бросился в одну сторону, в другую – никого нигде нет. Тогда решил выходить один, заблудился, услышал немецкую речь и спрятался в яму. Весь следующий день он пролежал в неглубокой ямке, между кустами, слышал, как, громко разговаривая, рядом проходили немцы, боялся, что будет обнаружен, но его не заметили.

Когда наступила ночь, он решил снова выползть к своим, но в это время услышал, что кто-то шёпотом зовёт его по имени. Не поверил, подумал, что почудилось, но между кустами появился человек. На фоне неба он узнал по шапке и шинели, что это русский.

– Они несколько раз проходили возле меня, – рассказывает солдат – Но не видели: я на самом дне лежал.

В первый или второй год после войны я случайно встретил этого солдата. Наш полк находился в Германии, в составе группы советских оккупационных войск. Иду пешком, кажется, из деревни, где размещается рота, в деревню, где стоит штаб полка. Догоняют три пароконных брички. Первая, сравнившись со мной, останавливается, я забираюсь. Солдат, управлявший лошадьми, загадочно улыбается: он узнал меня первым. Это был он, тот солдат, из-за которого

мы столько пережили, которого вернули «с того света». Он повзрослел, возмужал, как мне показалось, хорошо подрос, раздался в плечах и даже пополнил на лицо.

Пока едем, мы вспоминаем с ним нашу фронтовую роту, из которой здесь мы остались, видимо, только вдвоём, и ту оборону в феврале 1945 года, и тот ночной поиск. Сейчас ему, наверное, шестьдесят... Он, конечно, отец семейства, а может быть, и дедушка. Солдат 9-й роты, 598 стрелкового Берлинского полка, если ты или твои дети прочтут эту книгу, отзовитесь!

Банный день на фронте – праздник. А баня с паром – рай! С переднего края в баню солдаты ходят поочередно, по отделениям, сменяя в траншее друг друга. Спускается зимняя ночь, когда очередь доходит до нашей ячейки управления. Баня оборудована в каком-то каменном низком помещении фольварка, в котором разместился штаб и тылы батальона. Под высоким навесом ярким красноватым светом тлеют угли прогоревшего костра. У костерка кто-то возится. Присаживаюсь на дрова, чтобы дождаться ординарца, связных; в штаб батальона идти не хочется; решил – подожду своих. Старшина узнал меня, обрадовался встрече. Он недолго служил в 9-й роте, нравился мне заботой о солдатах роты, исполнительностью и добрым, отзывчивым характером.

Майор Юмакаев приказал отчислить старшину из 9-й роты и направить в распоряжение штаба батальона. Ни мне, ни старшине не было сказано, на какую должность он переводится. Мне было жаль отпускать такого старшину, от которого зависит на фронте очень важное – своевременно накормить солдат горячим обедом, хорошо, тепло одеть и обуть их. Не хотелось уходить из роты и самому старшине. Но приказ есть приказ. Старшина ушёл. С того дня я его почти не встречал. И вот встреча в этот поздний вечер у костра.

– Товарищ младший лейтенант, с лёгким паром Вас, присаживайтесь к моему костерку, сейчас я Вас угощу чем-то.

Я тоже обрадовался встрече. Присаживаюсь на толстую чурку, на которой колют дрова. Над углями, в огромной чугунной сковороде жарятся котлеты. Они гнездятся тёмными пирожками в шипящем и булькающем сале, распространяя вокруг аппетитный запах. Мне страшно захотелось есть. Старшина пододвигает ко мне перевёрнутый ящик и ставит передо мной сковородку.

– Подождите, сейчас я Вам и для аппетита налью. После бани, Петр Первый говорил, кальсоны продай, а стакан водки выпей.

Старшина ставит на ящик какую-то изящную трофейную металлическую чашечку и из большой кастрюли наливает тёмного, густого вина.

– Ликёр. Угоститесь: сам варил. Сахару, вроде, переложил.

Мне кажется, что никогда ни до этого, ни потом я не пил и не ел ничего более вкусного. Он налил мне ещё одну чашечку, от третьей я отказался.

– Угощайтесь, сколько хотите. Этих не напоишь и не накормишь. – Он как-то недобро взглянул на тускло освещённые окна второго этажа, где размещался штаб батальона.

– Давай вместе.

– Я потом, – отмахивается он. – Накормлю их, а то шуму будет.

Радость встречи погасла. Мы молчим. Из бани вышел ординарец, связные. Возвращаемся на передний край узкой, уже протоптанной через лес тропкой. Я с горестью думаю: «Значит, Юмакаев отозвал его с должности старшины, где он заботился об обеспечении роты, – девятью восьмью человек – чтобы сделать личным поваром?»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.